



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (512)

2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Сергей Солоух. Шесть штук. <i>Стихи</i>	3
Данил Файзов. Пляда. <i>Улицы детства</i>	6
Ирина Шостаковская. «Красной рукой начертал на песке...» <i>и др. стихи</i>	21
Илья Склярский. Дмитровкатасов. <i>Повесть</i>	28
Валерий Земских. «Когда мы в пятый раз прошли мимо трибун...» <i>и др. стихи</i>	46
Мила Борн. Возвращение. <i>Рассказ</i>	51
Михаил Шелкович. Шостакович. Триптих. <i>Стихи</i>	58
Сергей Тиханов. Рассказы из цикла «Круглый год» <i>и др.</i>	62
Дидар Абланов. «мое сердце – место, куда приходят умирать...» <i>и др. стихи</i>	69
Иван Гобзев. Другой мир. <i>Рассказ</i>	73
Александр Акулиничев. Ж. А. Г. <i>Рассказ</i>	87
Евгений Волков. «Сусальный ангел» <i>и др. стихи</i>	91

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая-29. <i>В русском жанре – 89</i>	102
--	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Александр Марков, Оксана Штайн. Кайнография: Борис Останин как философ.....	107
--	-----

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лев Оборин: «У меня книги превращались в ежей». <i>Беседовал Борис Кутенков</i> <i>К выходу кн.: Лев Оборин. Книга отзывов и предисловий</i>	112
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис Кутенков. Сладость бессмыслицы <i>О кн.: Владимир Гандельсман. В небе царит звезда</i>	119
Александр Марков. Рай и раёк малого романа <i>О кн.: Мария Степанова. Фокус</i>	121

Сергей СОЛОУХ

ШЕСТЬ ШТУК

стихи

Все смешалось в доме Карениных
Люди, кони, велосипеды
Старший сын рассуждает о Ленине
И о Сталине за обедом

Все смешалось в семействе у Лариных
Попугай, обезьянка, окрошка
У кухарки обед недоваренный
У Татьяны задержка немножко

Все смешалось в доме Облонских
Швед и русский, фонарь и аптека
В голове вянет щавель конский
У культурного человека

Вера Бунина и Вера Набокова
Феминистки о них невысокого
Мнения. И требуют их изъятия
Из истории. Минус-эмпатия.

Евтушенко не нравится Бродскому
Как и все поколение уродское
Стадионное. И он требует их разъятия
На куски. Минус-эмпатия.

Сергей Солоух родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Кузбасский политехнический институт. Автор многих книг (романы, рассказы, переводы, публицистика), в том числе «Комментариев к русскому переводу романа Ярослава Гашека „Похождения бравого солдата Швейка“». Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. Первая публикация в «Волге» – роман «Шизгара, или Незабвенное сибирское приключение» (1993, № 6-9), предыдущая – «Love International. Глава из новой редакции романа» (2024, № 1-2). Живет в Кемерово.

Но и Бродского с феминистками
Ждут со временем строгие чистки
И изъятия, и разъятия
Непрерывно. Вот и апатия.

Я скажу тебе с последней долготой,
Я скажу тебе с последней широтой
Все лишь глобус
Глобус мира, ангел мой

Там, где смешивались
Водка и портвейн
Добрый Кола
И его коричневая тень

Он без консервантов
И без сахара, мой друг
Глубже моря, выше неба
Его круг

Оттого-то вот, с последней долготой,
Говорю тебе, с последней широтой
Все лишь глобус
Глобус мира, ангел мой.

Писал послание в ЦК
Булгаков. А оказалось в доширак.
Заплакав, прозаик тут же застрелился.
Хотя и был давно уж мертв.

Но черт свое решение
Не изменил, в виду того, что кипяток –
Источник сил, подобен дегтю и смоле,
В его работе многотрудной

И чудный ему всегда приятен
Доширак. Когда бы на горе не свистнул
Рак, суп тут как тут. Всегда готов,
Словно обком и кворум.

Спят усталые игрушки
Есть на свете две беды
Бородатые старушки
Варят суп из лебеды

За день мы устали очень
Ум не может все обнять
Верить тоже обесточен
Только есть, и только спать

Скажем всем спокойной ночи
Ляжем ровно, я да ты
Кто из нас во сне не любит
Быстрой, как чугун, езды.

Д'Артаньян ныне курит кальян
А Портос нажирается суши
Из кустов не торчат только уши
Я труба объявил барабан

У Атоса проросшее просо,
С Арамисом флакон живанши
Хорошо петь, как кот, от души
И как чиж не смотреть дальше носа

Ришелье поступил в сомелье
На подвесках мишлена звезда
Ходят гуси все в нижнем белье
Жаль Дюма, да и то... не всегда

Данил ФАЙЗОВ

ПЛЕЯДА

Улицы детства

Возрин не дорожал, это Куня копейки на сдаче сшибает. Тыква, кричит, по мелкому есть?!!

Пусть и так, но какое мне дело. Возрина у меня на все каникулы, этих, под окном, шугануть дело плёвое. Капитанский по сути, но кто из них про то помнит.

А было что помнить. Как колючей проволокой на Вязовке обмотали чур не зашквар, а теперь я им давай, ага. Перипатетику тоже дядя Вася не зря кильдует, дорого им станет. А если и «Врунгеля» раньше десяти включают, то уж не знаю.

Возрин – он какой-то мягкий, как пластилин, но тоньше, что ли. У него музыка такая, нажал чуть, и как в гнусавой фильме про джедаев. Нажал чуть сильнее – и мультик выходит, коты и мыши. Наши сначала давили что есть силы, а потом вон где все, чураются.

Я же не так, собрал всех на свете и родителям пишу. Вот так и пишу, пальчиками чуть надавить и выйдет здравствуй, ещё чуть надавишь – мама. И папа. Почему-то папа вторым. Приезжайте, я по вам соскучился. Тут-то он и заканчивается, там ещё чуть нажать и выбрать, маме или папе, и что, но можно оставить на другой раз, а пока...

Нет, совсем не дорожал, Куня прав. Сдачи на копейку, а Тыкве отвечай потом – почём шло тогда, по столько и отдавал. На ул – три вдоха, на пр-т – четыре. На пер – один, но то редко бывало, обычно улы брали, порой по два и по три, а перы мне оставались, редко кто так дышал, да и хватало ли той дышалки от Островского до Мамина-Сибиряка.

Именно Куня дохлых светляков по пути снял, ему всегда на них везло.

Мои письма могут не дойти. Но как такое возможно, в нашей лучшей на свете почте как может потеряться последнее дыхание возрина, котором я наивно запечатывал конверт, и не быть им первыми, и не быть добрыми и последними, а просто не быть они ещё не проповали, ну и так не дышать ничем мне.

Лета такого-то ваш

Данил Файзов родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор нескольких поэтических книг. Предыдущая публикация в «Волге» – стихи (2024, № 7-8).

1.

Ну верх наива было считать, что моржи пойдут за нас, тем более что капралы предупредили. Им-то что, да и жалок их боец супротив нашего Мягони. Так нет же, повынесли с голоса, все споры и бары вырубил и давай крошить-перечить. Я в те секунды ловко одних забыл, вторым под муху кинул слово заветное, а как совсем началась окрошка, так впал, только коленки моржовы обхватил, и бьют меня, и корамыслят, а хорошо-то как, все замыслы чистые, всё жизненно-важные печёнки жарятся сапогами, я в домике, кучно каблуки ложатся. И тут загибайские побежали.

Что их червянуло, понял не сразу, лежу в юшке, а тихо вдруг стало, и только соловей в овраге, где ивняк ещё, заливается. Ну, думаю, либо капралы передумали, либо Мягоня всё же ихнего Бенуа завалил наконец и пошёл мелочь крушить. Но как просто всё вышло – включили синие экраны и так борзое спало. У нас-то в Бывалово давно всё это видели, а их бойцы первую линию оставили, на второй даже Муха и Куня вертухами могут, а третью Невзор щелбанами разгонит... эпической битвы хотели, Фермопил, блядь, а тут синие экраны, и бой неравный, даже с моржами, хотя те и грызли мыло перед схваткой.

2.

Калитин вообще был зубрилка. Спросишь бывало, в какой год генералу Кульневу оторвало ядром кураж и танцульку, а он прям весь пыж и пыж, надут, важен, куда твой сом, куда твой индюк, лета говорит, одна тысяча восемьсот двенадцатого комету видели, и она вживую того обратила в нечисть, и те чертей рисовать перестали. Ну, мы дальше его обычно не слушали, дату сказал, и то хорошо. Опять же, сеть не у каждого, а про героев знать это теперь особый спрос.

3.

Тыквой меня по имени назвали, Дания-Дыня-Тыква. Капралы конечно так воздух не местили, у них всё просто, звание, номер полигона, а по-свойски наши имя и произнести не могли. Оно ж ясно, там еврейский корень, отсыхает, как хвостик арбузный, язык. Но запретно не было, кто хочет помолчать денёк, тот так прямо и приходит: Здравствуй (а вот кто, до сих пор сказать не могу), говорит, Даниил. А далее свобода, воля вольная. Капралы бешутся, но сделать ничего не могут, поскольку дырка у них в наборе была, когда можно один раз без погоняля перед строем представиться. Дырку в том заборе потом заделали, Илюхе не повезло, Сане, а мне-то что, кто моим именем не поёт все четыре гимна хоть раз в день, то и пусть.

4.

Как появился возрин. Кто бы знал. Вначале было почти неинтересно, только Куня обнял ствол борщевика, а потом орёт, больно мол, нет терпеть мочи. Ну, мы червяков ему дождевых на язвочки накидываем, знаем старую музыку, припеваем хором: «Не бойся борща, а бойся леща!» А тут я, дурак, язвочку трогаю, и нет вокруг дурных тех и этих, ка-

пралов и прочего туризму, а только мама. И папа. Папа опять на втором месте, в стороне стоит, а мама по голове гладит. Руку отставил, все вокруг чорхают, гулят, понять ничего не могут, а мне хорошо так... дурак, не втайнил, поведал сначала Куне, потом Мухе, потом и Мягоне даже. Зря, видимо.

5.

Курчавые солистки шли отдельно. Они шли, шли, шли, будто путь их был не ими выбран, а дорожка одна-единственная, пыльная, песчаная, их даже жалко было по первой, знать ведь не знают, поют себе свои свиристели и, как там, фонели, и эти, как их, по верхним нотам, каптели, что ли, а что в конце тропки – и на знают. Я-то уже знаю, но сказать им... не, не решаюсь.

6.

Капралы всегда появлялись как бы ниоткуда. Вроде просто, с одной стороны Островского была от Крылова, с другой лес только, ну и картофельные грядки с колючей проволокой, но вот нет. То из шестого дома, от дачников с Урицкого, то из семнадцатого, а то вообще выворачивают от Салеховых, и как домой к себе в жизни, фьют. В те годы, кстати, жирные они были, откормленные, и то, мошка знатно уродилась, хоботки и жвальца у них толстенькие, сытые. Муха тронул однажды – случайно, конечно, трясло дня три, я ему потом возрина щепоть сыпанул, полегчало, но не раз что видел, только взгляд безумен был, чёрств, кулажен, боялся всего. Нет, капрала трогать – ищи дураков.

7.

Ели обычное. Пенку, смолку, вехоткой крошки смахивали, мыльце малиновое, клубничное реже, козла за рога хватали, потом облизывали (ай вкусно!), но тяжести рогов не касались, ему их нести. А на смолку порой сыпали мятлик мельчёный, и укроп, им-то одним по сути и жили, а вечером самовар, лепный, с шишкой и без гомона, смиренно.

8.

Когда хорошая погода, тогда босяки, голытьба, тела остужать, не оглядываясь, кто первый водогрей, и люто, в пруды, карьеры, заводи, в любое болото, лужицу, ижицу, фиту, юсы йотованные друг другу дёргая шутейски, большие и малые, всплески, брызги, удаль голи, голосит молодёжь, всё ей можно, если солнце и июль!

9.

В какой момент всё начало становится мёртвым? Осы переходят в жарком климате на сторону зла – жалят нещадно шевеление, а если кто кильданёт, то тем более, лето ж, им легко и ладно. После жалоб капрал Егорыч намазал половину укусов маслом, вторую – укусом, рёк – так любое жало как бутерброд, иначе как кожей вверх не упадёт. Ржали, конечно, сначала.

10.

Моржи не с полпинка появились, как и светляки. Первых так звали, потому что уже к пятнадцати были усыаты, мордвораты, тельнисты и частью зубы крошили о школьный мел да мыло грызли, а частью слушали молодецкое всякое, и после парной в студёную не лебезя, с радостью.

Вторые жили у затона, на Заречной и на Гоголя, а там, в отличие, были фонари, и к ним подобраться с набегом не то что б легко – своих патрулей не держали, но обе бабки, баба Маня Бенуа и баба Анюта Ягофарова, во все глаза свет белый проглядывали. Тёмной-то ночью порой выходило кабачок найти, но то нечасто, а потом ко всем тeneвым грядкам те же капралы свечек налепили, да и экраны синие стали включать без объявления. Крадётся, бывалоча, между двух гряд – а тут загорается. И справа, и слева морж и светляк тебя обихаживают. Ну его, этот кабачок.

11.

Венерка и Азат отца не видели и даже не помнили. А мать помнили, но она сгнула на птицефабрике. Как сгнула – неясно, как все там, квохчут-квохчут, и вон нет никого, бабка растила с дедом Ринатом. Он-то и научил, что бей пока не поздно, клубника с грязью вкусней, русский татарину братьё навек, полька в чешках засаленный снег, пушка-царь да боярин-календарь, выдохни и вынырнет, и над тобой утро новое, да гладь пруда и тень не вода. Азат базово малохолный да жилистый, Венерка тоже жилистая, но резвая. Я как-то говорю: «Фенимора читала?» – а мне в ответ: «а ты с кем одной душой живёшь?»

Азат проще был, его капралы за что приметили – ежели обидит кто, покрупнее малость, в сторону отскочит, каменюку с-под ног зацепит и в затылок, и тикать. Его моржи песочным прозвали, как часы, не поймаешь. А разобьёшь – грусть-тоска.

12.

Мягоня был не то чтоб туповат, но силушка его не в ту степь крутилась, где думать. Ему Невзор всегда в помощь был. Тут же как – его развернуть в сторону, где вражина, недруг, или добыча какая, а не то сольёт наших (слово окрошка откуда пошло?). Так вот Невзор и крутил-вертел Мягоной когда надо, но то до поры, потом капралы вычислили, моржам слили, а те хоть невеликого, но с ходу по три трутня на Невзора вешать стали, да курчавые рядом от них поют, отвлекают. Где тельца наших, Мягоной пришибленных, где и чуждые – все синяки ли да ссадины зализали, или глину солёную на вкус очерничивают, кто ж его теперь.

13.

Знакомимся с Капитанским. Сам назвался, сам появился из пены морской (ха!) добрый молодец, рослый, крепкий, на шестнадцать в тринадцать смотрелся, и всё мог, и с вертушки, и знал песни из «Врунгеля» наизусть, и первый мятлик всегда находил, и козла не боялся. Не так здоров, как Мягоня или даже Невзор, но светляки и моржи его боялись,

силу источал и смотрел так, что молчать мочи ни у кого не было, любой правду пытался оглашать.

14.

Измерение глубины пруда нырянием. Вроде три-четыре человеческих роста, но это же так, на глазок, на вдох-выдох. Маринуешь углекислый газ в мышцах, выплываешь на то место, которое не кажется тебе глубоким, отгоняешь незлобным матерком катамараны, лодки, плоты, прочих любителей баттерфляя и кроля, чтобы, всплывая, кумпол не огла-сил, и – руки по швам, движение вниз, далее чуть-чуть себе помочь правой и левой, ладошками только. Коснулся дна – какое оно там, нежное, песочное, илистое – не успеть понять, воздуха уже совсем не хватает, вверх, вверх, загребая руками, выгребая, и тут два киля, один правее и безопасный, другой прямо над тобой, отрыгивает вчерашнего минтая, а ты выныриваешь в считанных сантиметрах от этой двухтелой птицы.

15.

«Врунгель» был всем и ничем. Чёрная история про невыносимого и жестокого, потом с неё сделали копию в ряде южнокорейских сериалов, с удивлением наблюдающего, как тельняшки приобретают цвет клюквы, вот про такого морского волка смотреть интересно было всем, и нашим, и моржам, и остальным. По секрету Азат и Венера мне рассказывали, что и капралы ему отдают должное, и времени не жалеют, и даже зёрна перед синим экра-ном насыпают, чего от них обычно не дождёшься. А песни, какие там песни! Я их потом как-нибудь ещё напою.

16.

Первым в капралы пригласили Невзора. Неудивительно, рослый, статный, кровь с молоком да угольком, в свои четырнадцать дважды реального капрала удельывал, удаль видна, золотой зуб, всё при нём. Чуть бы побольше начитанности, так и сразу в лейтёхи, так нет, грит, глаза ещё портить, экраны – они и то отнимают, а что прибавят? Не занимать ему афористичности было.

Калитина вторым хотели, так полевой верёвочкой, вьюнком удавился. Я уж и не помню, как трава та называлась.

И вторым тогда почему-то позвали меня. Странно, я размером с полкапрала и, с их по-зиций, неуверенный какой-то, ящерку вылавливал, конечно, а горноста я нет. Про ящерку потом расскажу, а вот как с горностаем было. И Азат, и Венера уже как бы кандидаты, но не совсем, им обещали, на словах, и тут чернявые меховые змеи со всех сторон, говорили, королевские. Венеру кусат, Азат лопатой отбивается, а я смотрю – решётку опустить заби-ли, вмиг справился, уползают. Что ж, говорят, не бил? Жалко, говорю, стало, не со зла они зубы в ход, с таким послужным какой капрал, так нет же.

17.

Кто из них, капралов, придумал название, я не знаю. Не Егорыч, точно, он и слов таких не знает. Но и не лейтёхи, эти носы вертят как мухи в кроссворде, перпендикулярно всё, а

мозгу ноль. Как высших звать, я и сейчас не знаю. По крайней мере, Капитанский, сколько ни брехал, но всё понимали, что чей-то сын, чтоб и не самого Германа.

Так что ж, название какое-то несуразное выбрали, как выматерился (тут уж совсем нельзя, но в то время было помягче) – ПЛЕЯДА. Капитанский мне потом говорил, втирал – а я делал вид, делал вид, делал вид, что верил, что, дескать, звезда такая есть, но увидеть её не так просто, а надо шмеля на ключицу посадить, да чтоб не куснул...

В основном я всегда ему верил, но тут уж извините.

18.

Я ещё не знал для чего готовят таких, ну ласковых, что ли. Целесообразных и колченогих.

Плеяда, блядь. Именно эту песню из «Врунгеля» обычно напевали пенные капралы, пенные, это те, кого в караул в субботу, ну ясно, пивчанский, воблянский, всё что мы любим.

Плеяда у нас такая
здесь Родина смотреть не устаёт,
Как мы не ждём токая
У будапештовых высот.

19.

Муху приняли последним, дурной просто, вычурный. То зубную пасту с горохом смешает, то весь запас мятлика распылит, а ещё июль только, то моржам алтын из-за забора покажет, ну, в шутку конечно, а нам зализывай. Но всё же смелый был, верный, безудержный, я поручился, и остальные, негоже, говорим, своего в словах держать, годен, он, годен.

20.

Вот так мы и получились, «Плеяда». Шептались, что Герман хотел сразу, чтоб семеро было нас, вот и считайте: Капитанский, Невзор, Азат с Венерой, Мягоня, Муха и я. Ещё Куню и Калитина в запасе держали, сказали быть готовыми, в любую секунду, и чтоб как от зубов отскакивало. И роли разделили. Сына своего он на песню поставил, ну, понятно. Мягоня подтягивания и закалка, стальной ведь. Азата с Венерой разделили, он в гигиену, она в гастрономию, никуда не денешься, стереотипчики. Невзор на строевую и математику, потому что слагать умел как никто, Мухе что попроче досталось, яды и смеси питательные, а мне словесность, ибо каждый должен уметь, ну, вы поняли, не зря же наши улицы так назывались.

21.

Герман нас построил. Майки форменные, белые соленые, всё по моде, а штаны, чтоб не выделяться, любые, и кеды, кеды. Стоим, бояться вроде нечего, жалования ждём, Герман ходит и жалуется, жалуется.

А потом и речь начинается. Для того вы здесь, шантрапа, что директива с самого верху, всех кому десять стукнуло, готовить надо, уверенность вселять, да и обучить, и намылить, если потребуется. Вы – лучшие из лучших, верные из верных, поручился я за вас головой, своей, погонами, лычками да лампасами, и орденом самым дорогим моим, Викентия второй степени. Со дня завтрашнего ваша группа заходит на Известковый, там здание управления, и будет оно и вам, и питомцам вашим, новым домом. Первым и единственным, главным и первичным, ни голода там не хватитесь, ни холода не оберётесь, павки вы, в конце концов, или светляки позорные?

Мы гаркнули что-то, но понимания речь не добавила.

22.

Здание управления в Известковом умиляло. Мы там раз сто бывали до того, знали облупленное очень. Три корпуса как один дом, в галерейках, граффити и похабени, один из них, двухэтажный, нам определили, второй этаж наш, первый пионеркам. Муха сразу Венеру ловит и Невзора за руку, и подвал шарить, что там, как, запирается ли. Замок наши, ржав до зелени, но скрип-поскрип, а надежда наша, не скovyрнуть. Капитанский зал для песни репетнул, ничего так, голосисто, и дверей аж две, не свергнут, коли ворвутся. Я книги осмотрел, недурно, и Басё, и Фуко, Геродот порадовал, и Эко, прямо библиотека вавилонская. Азат баню затопил, веники свежие, и масла откуда-то остались, от прежних, видать.

23.

Самое большое пространство, актовое, подписанное, и тоже, видать, от прежних, нары двухъярусные, нарядные. Разделённое, сорок мест пионерских, широкое, этаж первый. И семь наших, на втором. Три двухэтажных ложа, плюс одно обычное, Венерино, и ещё одно обычное, резерв, на него накидано бельишко да спальные.

Венера кухню дёрнула, а там, ну, по нашим-то меркам, пир горой, чего только нет: и травное, и специй три вида, и смолки сколько хочешь, и маслице, и хлеб, хлеб – так Капитанский и сказал, не к добру это, много видал я, по этой земле ступая, не бывает запросто так изобилия, где-то грешны мы.

24.

Дивило – ни одного синего экрана. Нам, в общем-то, без разницы, но пионеры ещё не всего «Врунгеля» на зубок, им может и полезно. Ан нет, всё прошерстили, один старый неработающий нашли, Капитанский опять прозорливо молвит – неспроста это, может, гужа где-то кроется, не споётся, не сладится, все ли в ноту без экрана попадут. Но Невзор успокаивает – мы-то на что, и подскажем, и подпоём, нас же тут семеро, не чушь нести, верой-правдой служить поставлены.

25.

Осмотрели подсобные классы, вышли на крышу. Муха всегда в том первый, предложение его обычное, плодовое, дурманящий, и кто бы хоть раз нос отвернул, нет, дураков

нема, достали. На меня зыркнули, ну как есть возринчик-то? Но я свои запасы берегу, отнекался, откуда такое богатство, и не по чину, и сами с вами последнее на неделе ущучивали, совесть-то поимейте. Не лебезил вроде, но Азат заподозрил, лыбнулся разок.

26.

Тут Капитанский затянул. Протяжную, любимую из «Врунгеля», и сам бы я лучше момента не выбрал. Баритон, густой такой, с лёгким подрагиванием связок, слезу выдавливает, и каждый, каждый на этой крыше понимает – мы – наши, каждый из нас – наш, голос его – наш, не зря всё, и вот уже каждый из нас целых два часа капрал, а то и три, и песня льётся не просто, а удобряет влагой слёзной тот росток единства нашего, который силой пробивает асфальт злобы чужой, и спасибо старшим капралам, и Герману, что выбрал именно нас, павок, уж мы не подведём, мы проведём всей силушки своей, всей медвяной, вскормленной травами густыми, да полями широкими, да скалами резкими, да сосняком молодым и ивняком горьким.

Вот что Капитанский пел:

«Варяг» потонет но останется «Аскольд»
а «Дир» на стапелях и ждёт сражений
пять труб и кто приветствует раскол
тот знает где ему самосожженье!

А мы знали, что песня та впереди всех летит, позор кто не услышит её, только нежностью переполнены были.

27.

Первая ночь. Ещё пионэры не пригнаны, мы сами по себе, танцы-шманцы, но никаких, не думайте, после песни Капитанского все на подъёме жажнули, и отбой, это Герман Невзору доверил, обозначал прямо, есть лидер формальный – ты, тельняшка, и неформальный, голосистый, учитеесь жить с такими пространствами. Я первым осаниться прекратил, а там и остальные горизонталют, долго ли, если нет развлечения, храп и раздался, несильный, ну, так, в допустимых, мне, например, не особо мешал.

28.

Про моряков-подводников забыл, их нам кинули к трём часам во второй день, мы снулые, они фигушки крутят, это ещё мягко сказано, растерзали обе подушки, мы трубу единственную ловим, но нет связи, спят уполномоченные. Вроде гнать их надо, не по нашей части, взрослые, чумовые, да ещё и стояки в каждую стенку тычут, на Венерку глазки кладут. Мы им положили.

Старый неработающий синий экран Муха приволок и малевать, ну, похоже ли, не поймёшь, но как бы баба, а эти уж и не помнят, как что выглядит, ярят, мы все отвернулись, интимное всё ж. Баню по второму разу Азат топил, ругается, с ног валится, но топил.

Как притопил, так и дверь притопил. Топнут и топнут, им не привыкать.

29.

В первую ночь, мы даже караул не успели обсудить, всё пели. Светляки гряди гуртом в одно окно, решётчатое, кулаками махали, локтями махали, дурь всю свою вылили, выпили. Я смотрю на них, сбоку так, корёжатся, поверчиваются. Куды ж вы, говорю, лезете, убогие, а нет, сипят, слюнку вниз-вверх гоняют, но ползут. Одних Капитанский развернул, другим Мягона в тулово въехал, так и удалилась рать их. Не то чтобы и особая.

30.

После этого Невзор меня зазвал на крышу.

– Спать, – говорю, – хочу, не пойду.

– Надо, – говорит.

Надо так надо, ладно. А сказать что-то хочет, и не может. Пытается. «Не густо всё, – наконец вымолвил. – Светляки ерунда, моржи посильнее будут, но тоже замашем. А вообще всё зачем? А мы с тобой зачем? Ну вот зачем твои очки, и я, вот такой как бы крепкий пока, а дальше видно будет, завтра я тебе нужен? Хорошо, не завтра, года через три? Четыре?» Так-то по уму, но тоскливо мне стало, и обнял я его. Не держи, говорю, будет и то, и ручка. А кто кому нужен, не нам решать, даже у капралов есть кто выше, ты вот теперь капрал, а кто над тобой, власть верховная? То-то и оно, одумайся, будет тебе добро, будет и слово моё ласковое.

31.

Выспались, высыпали на плац, что зёрнышки твои, пионэров ждём. И вот пазики чух-пых, вывалили зверёнышей, диковатых, мёрзлых, глазки туда-сюда стреляют, нет бы по уму, так ж кому ум дал, кто ж кому разрешил. Все драные какие-то, чумазые. Капитанский сходу командует: «В баню!» Азат с утра разогнал уж, и по десяткам ведём в жар, в пар, в музыку температур, чтобы отшелушилось нездоровое с тел, чтобы чистые помыслы. Пару поймали, на кильдиях, но простили по первой, вообще нельзя, но разочек можно.

32.

Выдыхаюсь, ту ночь не описать уже.

Если поедешь на линию противотанковых ежей,

Не забудь лису и сову.

По сути, для этого и живу.

Для того становлюсь писателем,

Глотку рву, и бумагу рву.

Не выходит совсем. Хриплый голос песен правдивых, за жизнь, из «Врунгеля», не оставляет, но как у него не выходит совсем. Вроде бы и вот всё как думаю, по правде, пишу, а не то, не цепляет... Но он же и старше был, когда писал эти песни. Узнать бы, как зовут его, адрес, поехать и спросить, да хоть в самую Москву, что не найти, что ли, там же его лю-

бые знают. Так вот подойти и сказать. А что сказать? Что восхищён и так же как вы хочу, но что-то не выходит, уж подскажите, где ошибка-то?

33.

Первые занятия. На плацу Мягона их гоняет, щерит, сразу видно разделение, пополам примерно, уголок двадцать делают, остальные кряхтят только, но подтянуться до восьми все вроде потянули, включая и всех трёх девчат. Для начала уже неплохо, а я во вторую группу глядываюсь, где глазки поблескивают от снаряда, там не факт, что мои стажёры, а если тоска, обязателька, мука смертная – глядишь, кто и сгодится. Присмотрел троих, и на замену ещё одного, мало ли. Указал Капитанскому в боевые караулы их не ставить пока, он хмыкнул, но вял.

34.

Как Венера умудряется это делать – откуда что берётся? Смолка в масле печёная, хлебом посыпанная, щебет сосновый (это верхушки сладкие, послала собрать вокруг Известкового пионэров), и масло, и на десерт папоротник в меду, и это на сорок семь человек, а ведь времени не густо было. Потом узнал, что отрядили ей с утра, конечно, в помощь, ну и кого, как думаете? Тех, кого я и отобрал для себя. Не для бою, но двойная нагрузка на ребятишек, и по хозяйству, и с духовностью, потянут ли?

Я Венерку потянул я за рукав и спрашиваю: «Дальше-то что думаешь? Так же всё, или иначе?» «В медсёстры пойду, – говорит, – училище в Ревде, недалеко. Как мамка сгнула на птицефабрике, всё думаю, как сделать так, чтобы боли поменьше было, и если кто ожёгся, или ещё закрыл как, то спасти чтобы».

35.

Плац, кстати, был на уровне, ворота, разметка, кольца сбоку от футбольного. Тут я уж развернулся после Мягони, и стал делить. Невзору вторым капитаном выпало. Уже давно нам капралы говорили, что командовая игра, дух её, сильны весьма, и нужно и круглое катать, кидать, забрасывать, бить и лелеять – это рецепт сплачивания, и чтоб не увернуться, а на потере дыхания рвануть и дотянуться, и партнёру отдать, всё то, что вроде уже своё. Коллектив, команда – важнее личного. Я присматривал умненьких, глазастых, и верно вышло. Собрал в кружок. И как играть начали, тут и вышло зачем я тут – мой-то с Невзоровскими и не сближались, круглый в сторону на ближнего, тот на третьего, а та, да ещё дальше, четвёртой. Пять-один да минут пятнадцать, можно и больше, но Капитанский игру остановил, Невзора отозвал и предложил другую игру. По воротам на силу. И чтоб били мы с Невзором. Я по моей команде в стенке, он по своей.

Тоже глуповато вышло, два-два. Он сильно лупил, но в сторону, а я на точность, но удар слабее куда, я одного чуть рассадил, Невзор моему удальцу (три гола) мозг сотряс, но вышло, что и припозорил нас перед младшими...

36.

Обед Венерин нам, проголодавшимся, продрогшим, очень даже зашёл. А потом уж и духовное началось. И моя картина мира стала на время главнее отжиманий.

Так говорю, а пионэры рассыпались по залу, сидят на матах, ушибленное потирают, или животы, или и то, и другое, – кто из вас книги читал, все необязательно, какие тронули. Лес рук, ага. И не перелесок, но с десяток. Я бы сказал, что бывало и хуже, но сравнивать не с чем, пусть и так будет, всё лучше, чем ничего. Гендерно начну, решил. Рыжая девица, веснушчатая, глаз злой, но умный. – Что у тебя в багаже? – «Отцы и дети», Бажов, ну, там, «Хозяйка медной горы» и «Каменный цветок», и «Тарас Бульба».

– Неплохо, говорю, едем дальше.

С татуировкой многоцветной шибздик, с глазами бешеными, признался в Паланике и в афоризмах Фаины Раневской, и вспомнил ещё «Хроники Амбера». Прогрессивный, опасный даже.

– А если ещё по классике?

Выловили, в итоге, «Роковые яйца», «Собачье сердце», «На задворках великой империи», третью часть «Войны и мира» (чуть удивило) и стихи Роберта Рождественского...

– Ну, пионэры, это синие экранчики, что там было, то и знаете, а буквы-то, буквы кто читал отдельно от них.

Отдельно вышло ещё Веллера найти. Что ж, база есть, будем прокачивать.

37.

Свободное время пионэрам отделили под шахматы и нарды. И первый день даже не ограничивали, но предупредили, что уж завтра играют не на интерес – на наряды, на чтение и пропение перед сном, на отжиг трав для ядов и зелий, а пока – пусть играют. Парочка ушлых попыталась с ходу в нардах на крапленых камнях себе пенного заёрзать, но мы с Невзором их быстро вычислили, и отправили горох охранять, опасно, да, но там никогда до крови большой не доходит, так, получают малость.

38.

– Капитанский, а кто такие «прежние»? Почему капралы ни разу мне про них не говорили?

– И мне не говорят, даже отец.

(В первый раз проговорился, имени не назвал, но было понятно, что и самому ему не по себе.)

– А отец знает?

Ощутить как кулак, готовый сломать твою челюсть, пролетает в миллиметре от неё, а потом увидеть оскаленное лицо – и слова, слова прямо увидеть: «Не лез бы ты, Тыква».

И после этого, добрее: «Чёрт знает, отец – вряд ли».

39.

Караулы расставили. Ночь вторая прошла спокойно, но и если кто напасть хотел, тоже рассчитывали, что после первого удара мы будем готовы и поставим в бой сильных... эту ночь спали спокойно. Однако, одно удивило.

Я спустился на первый, и слышу: «Они расстреливать выводят, и первым – попа. Молодого вполне, и ему говорят, отрекись, а он не отрекается. И шмаляют его. А потом выводят девку молодую, ну, может дворяночку или купчишку, и ещё офицера. Тем вообще по двадцать. Чуть побольше, чем нашим менторам. И ржут – вот спарить бы их, какое потомство гарное было бы. Этих не спрашивают, просто дырки в теле делают, девка смеётся, правда».

Хм, не всё сказали, явно тут подоплёка.

40.

Потянулись дни, несмотря на тревогу постоянную, безмятежные.

Я выучил своих пионэров по именам: Женя (мальчик), Женя (девочка), Валя и Саня. В целом жилистые, в частности – рыхлые ноги у Сани и Вали, сидят больше чем ходят, а ходят больше чем бегают. Женя (девочка) резвая, бодрая, но в глазах тоска. Не знаю, откуда она взялась, не моё дело, но чувствую, что боль её до добра нас всех не доведёт. Женя (мальчик) понятнее, текст ловит на лету, порхает по смыслам, дёргает цитаты, ну как я два-три года назад, натаскать не труд, труд оттащить. А Саня и Валя скорее разменный материал, но мало ли, меня тоже таким считали.

41.

«Тут у нас встреча с ветераном», – говорят капралы. И входит за ними баба Анюта Ягофарова, из тех, светляков с Заречной. «Она вам и расскажет всё, как было, и как быть должно, а как ни в коем».

Баба Анюта вздыхает, на скамеечку приседает, Азат с Невзором подтащили. И сама такая же как скамейка – в трещинках, краска облупилась, муравей порой пробежит со своей хвоинкой – по бабе Анюте ли, по скамейке, пойми ж.

«Так оно и есть, – говорит – как извеку повелось. Но сначала был тот, кто отпустил своих потом – Полоз. Был он князь большой, и все кланялись ему, и сосны, и реки, и запруда у Вязовки, и всё что знаешь. И были у него защитнички – горностаи. Летом серые, что змейки твои, зимой белые, только кончик хвоста чёрен. И шустрые были, что птицу, что рыбу – всё Полозу несли, ни в чём он горя не знал. А платил он им золотом, про которое ему ведомо было, в каком месте колечко совьёт, там и рой, насыгнись. И были у него мелкие защитнички, ящерки, что чешуйки его чистили, а в холод облепляли его и тепло своё отдавали. Те, что по оттепели оживали – те далее юркали, царпки гнули, хвостики тянули. Те, что не оттаивали – те камушками становились. Молоденькие сланцем и известняком, те, что постарше – кварцем белым. Совсем почтенные, кто три-четыре холода пережил – и меевиком, а то и малахитом.

И много горностаи золота прибрали, но кто побольше, а кому досталось горсть да щепоть. И стали эти змейки королевские между собой разговор говорить, щебетать, поску-

ливать. Тот, мол, два чебака вчера принёс, а я, а я, и подлещика, и двух белок добыл, да малины лесной душистой лукошко. А эта только шишек сосновых, на самовара растопку. Но у нас-то горсть да щепоть, а у них пригоршни! И ящерики тут как тут. Не хотим мы в кварц да малахит, хотим шмеля и муравья, и стрекозу с осоки снять, а тепла и самим мало.

И похолодало тут, резко так, что земляника из красной обратно в зелёную вышла, и скрутился полоз во все свои кольца, дёрнулся, вздрогнул, выгнулся дугой. Нет, говорит, я за всё добро честным золотом платил, а свалку-сволочь вашу не готов. Не надо мне нести ничего, и греть меня не надо. Золота хотите – вот вам оно теперь – а встало солнце, яркое, живое. А сам в камень обратился, в огромный камень от степей южных до морей студёных.

Горностаи, коль служить некому, те в разные стороны подались, кто на шубку, кто в Сибирь. Ящерики тут остались, куда от родных могил денешься, ведь каждый камушек или мать, или отец, или брат с сестрою.

А потом пришли вандалы-карлики с автоматами. На мотоциклах-уралах с колясками. Карлики – это удобно им было, их с вертолётов не видно. Особенно за детьми охотились, кто за мятликом пошёл, того и поминай как звали, завсегда, почитай. Ну или кто взрослый за грибами, но тех не особо трогали – куда их. Когда совсем уж немоготу стало, тогда капралы и пришли, и порядок стал, наконец экраны синие повесили. И солнце золотое, и ящерики по трещинкам муравьёв ловят, и нам спокойнее. Вот так-то было, и есть теперь так, и будет, ну и славно».

42.

Лучше всего выходило, и легче устроено, что правда, у Невзора. Разом и то, и это.

Стоит фертом, и командует: дважды два – четыре!

Эти запоминают, а ритм держат, левое плечо впервые, правая рука назад. То есть и умножения таблица, сравните, шесть шесть, и сорок отроковиц и отроков делают блоки, потом на шпагат-верёвочку, а оттуда вертушку правому, а правый блокирует! Любый запомнит!

У Невзора, как и у всех, появились свои любимчики. Как в поговорке, ему сызмальства любезной: «Кому стручок – тому зрачок». Пионеры не все с ходу, но кто десятку первый выбил – молодец, другие, кто посмекалистей, – тоже вперёд. Остальные лямку тянуть, учёность знать, а то, надо ж, бодры стали на шах-харчах медуницыньских!

Резали по живому горлу осокой. Там, где не дотягивались, руки коротковаты, выдох-подпрыг и сланцем, но это только Мягюню так. С вечера мятлик пересушенный в чай, расслабленные, спим крепко. Только я возринчику из запасов достал, письмо писать, да Капитанский про Германа думку думал. Да Невзор ворочался, не дался, твёрдый, с первого. Кто-то их пионэров газеты зажёт, правды советские, правды комсомольские тлеи, тусклый ответ падал на рудой испачканные наволочки, на клейма Известковой кастеляции.

*

Куню заосочили первым, он на нижней сопел. С ним у них бесхлопотно вышло, вжик и на новенького. А Венерка не такая, голосина, вдрызг, пена, она-то всех, спасибо, и душу её упокой, и вытянула, как рыбин каких подсекла, живы (не все), но живы...

*

Я с верхней кубарем от Венеркиного крика, и хватать, что, не секу, и не спал ведь, а вот – копошня снаружи, шерстяное всё, пропитанное, мокрое, тяжелее, твёрдый уж Куня на нижней, тёплые пионэры тыкают травой, елозят, вину пытаюсь нащупать. Кого пинком, кого окриком.

С Мягоней им сложнее всего, конечно, оказалось. На бицепсе его три-четыре ручонки повисали, как прищепки бельевые, а он ревел, спросонья, сослепу кровати вокруг крушил, чёткий боец, сладу им не было, мельком я видел пришибленных, еле дышащих по углам, с пяток и более.

Тут другая тактика пошла – и я смотрю – знакомая. Да-да, так нас и учили, покружить вокруг, если много, ловчить чтоб не под удар, и одеяльцем, матрасиком прикрыть, загасить огонёк, пепелок боевой.

Их много потребовалось, да и пространства было не густо – но мы ж их муштровали, мы, где тесно – матрасик нужен, простынок хватит, побольше б только, да с клеймами, да с Известковыми, и вижу я, как Мягону моего и вяжут сначала, и режут, и течёт слеза его с кровью пополам на тихий кафель.

*

Азатка за сестрёнку рубил рёбра, косил стенку, выл выжданное, вырывал гнёздное, пальцы в колёса совал, бешеный, но сзади пятеро, и не осоклой, просёк кто – нашли лист бумажный, худший, и им, и им по сонной. Сразу голова склонилась батыра юного, отчаянного, верного, сильного, и не отомстил за нашу кашевариху, сестру свою. Горько мне стало.

Спина к спине стоим мы с Капитанским. А Невзор рядом, напевает, мол, не плывёт никто на льдине на словесной бригадине, подбадривает.

*

Герман вошёл. Смотрит в газетку понимающе, с толком. Неплохо, грит, научили – сыночку-то...

Пионэры за его спиной щерятся, пожёвывают, ласковые такие сосуночки, а он к сыну (мы ж не знали, догадывались только, так, кто как) и ебысь по рылу и, хопя, в живот финочкой наборной.

Невзор взвыл, я столбенел как есть, а эти гурбой вальнули, кагальчиком, и не учили того, что и Герман на дорожке стоит – растеклись на два ручейка, как Вязовка на плотинке,

половинка ко мне течёт, половинка к Невзору, а уж мы хоть и только в капралы возведены, да и в ахуе, но уж таких-то молодых направо-налево покидать – нечего делать. Невзор треть локтями да другими суставами, я табурет прихватил, Герман стоит островком ухмыляется, платочек достал, шёлковый, вытирает.

Я – Капитанскому: «Паря, ты как, живой». А он: «Бегите, братцы, я тут спою, вытяну, та ещё песня будет». И поднимается, пошатываясь, правым косит на плакат – «Врунгеля» я ещё в первый день повесил, замесил, высветлил, левым на батю свово, прокряхтел-прокашлялся и завёл-завыл. Были б синие экраны вокруг, сразу бы загорелись.

Кто стоит на берегу пруда,
Тот не видал в жизни невода,
Потому что невод не про стоячих вод,
Невод о той воде что свободно течёт.

И пока течение сверху вниз,
Он останавливает жизнь,
Но как только кровь снизу вверх потечёт,
Этот невод откроет беззвучно рот.

Невзор выламывал решётку, гнулись сухожилия, бетон кряхтел, крошка в рот просилась. Мои (Валя, Валя, Женя и Саня) стояли рядом и гаданно ли это – его как бы пропустили, вот тебе волюшка, вот карьер под нырок, ну нырк, ну и... А ждали меня – глазки добрые, любознательные. А за спинками их моржи как раз, боёвка, кстати, не пескари. Как внутрь вошли – не спрашивать же.

*

Когда всех наконец убили, всех, капралы сели, на том пригорке, где я всю жизнь маслят резал, порой под шапку, порой с ногой захватывал, склизских. И там достали мой возрин. Они в своих касках были, словно маслята, сидели. Скользкие, так и просятся, срежь нас.

С проткнутой арматурой рукой не срезал бы, а так да, дело плёвое.

Хорошо, сын, что ты не забываешь читать, это правильно, и что возрина тебе на это хватает, не тратишь попусту. Помни, что скоро новый учебный год, программа большая, но ты лето не зря провёл, не только купаться бегал. Очень соскучились.

Твои мама и папа.

Ирина ШОСТАКОВСКАЯ

Красной рукой начертал на песке
Жизнь висела на волоске
Шумно гуляет вольный народ
В воздухе смертью пасёт
Она есть разряд, и она бог весть
Электризующаяся весть
Дети не слушают радево, их внутри
Мыльные пузыри
Лопаются пока из чёрной тарелки
Божественные раздаются звуки
Классической русской музыки
Другое время, дрожащие его веки.

Так и мы, поднимаясь, выходим на улицу, слушаем птичий крик
Днём ли, ночью ли слушаем птичий крик
Снова считаем мёртвых, думаем, их унесло войной,
слушаем птичий крик
Ты мне об этом не говори, и о том мне больше не говори
Так наша речь становится птичий крик
Неразличимый звук, пока мнётся жаркое небо
И не становится выше

Сверкая бледными зубами
На неизвестно чьём лице
Он проведёт тебя сквозь переходы
В Екатерининском дворце
Уставленном банкоматами, и отчаянно сводит ноги
Не вмещающиеся на короткий диван
Ты в это время бежишь по лестнице

Ирина Шостаковская родилась в 1978 году в Москве. Училась в Литературном институте им. Горького и МПГУ, но не окончила их. Автор пяти книг стихов. Стихи и проза публиковались в альманахах «Окрестности», «Акцент», антологиях «Братская колыбель», «Девять измерений», на сайте «Молодая русская литература», «Литература», в журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра» и др. Премия Андрея Белого (2014).

Мы так и не знаем, кто тебе приснился
Он об этом ничего не расскажет

Когда оно становится другим
Или не прекращается в осадок
Я говорю о времени, малыш

Оно давно идёт наоборот
А мы с тобой только заводим очи
И лишний раз о нём не вспоминаем к ночи

Я так люблю твой сумрак и восторг
Я так давно тебя не видел с монитора
Я так давно чтоб не через стекло

и становится небо такое
чтоб отправить тебя далеко

я совсем некрасивый порою
ты наверно моя Сулико

ты придёшь опираясь на зонтик
ну а может на кабриолет

ты склюёшь шоколадный батончик
и тебя он ко мне привезёт

нет конечно мой друг не батончик
а как минимум белый ЛиАЗ

эта песня кончатся не хочет
и она несомненно про нас

чего хотят-то дóма барак холерный
за стенкой мой семиродный братан, без ноги и немножка нервный
мы за дератизацию всей страны

наши речи за десять шагов не слышны

мёрзлой походкой входит на ужин зима
сама

симпатичная

встретил на улице председателя ЖСК советует мне стиральную машину

я люблю тебя больше всего на свете

ветер ветер на всём божьем свете

поднимается температура звоню подруге говорю дай двести даёт неудивительно
этой осенью ой зимой в нас пытаются пробудить

пробуждающееся гражданское сознание

последний вопрос с этой стороны как звали Чука и Гека

задают года три, ответы меняются

кошка лежит на диване

у кошки четыре ноги

со стороны этой кошки

не видно ни зги

чёрная кошка охраняет меня от грабителей

чёрная кошка стережёт меня когда поднимается температура

когда начинается ветер

когда мы с тобой когда-нибудь встретимся

звонит мне говорит что бухает действительно чем ещё зимой заниматься

я думаю, что изошрённый слог

тончее чудотворной мысли

точнее я не думаю вообще

так говорил поэт и чудотворец

и много что ещё он говорил

пока себя совсем не простудил

а прошлое забудь, это работа позорная
животное, свиристевшее попугайчиком
ты о другом не знаешь ещё
и не узнаешь ещё

я помню он был небольшого росточка
она невзрачная в серой юбке
он говорил твои все эти

я плохо помню что такое эти
должна была на них смотреть

для тебя представление, запоминай представление

чувак, я даже помню тебя по имени
представь, и по фамилии*
ты думаешь, что-то сознательное совершил?

(*это был Андрей Белашкин)

в неживой стране
я укурюк слушаю Журбина
иногда
кажется, проваливаюсь назад лет в восемь – десять
стёртая жизнь в четырёх стенах
ты знаешь
я немного разочаровался//
лась в этом во всём

отец называл таких ублюдками
другое слово лицемерами, фальшивками
ещё какое-то
наверно, нужно умереть

точнее, этого не произошло, но

каждая минута растягивается как последняя

оно теперь стало будто стеклянным
прозрачным
время ты или пространство

сложно писать не располагая
суффиксами для уменьшительных

я муху безумно любил
и чай запивал с нею рядом
ответь мне на странный вопрос
вопрос изгибается тенью
и смотрит мне прямо в глаза

вообще-то мы полгода не виделись
думаешь, нужно об этом писать?
(перебивает меня вопрос)

молчи уже. И верно, он не отвечает.

За окном глубокая ночь.

пустота сигарета и хочется чаю
выпить или морской солёной воды
нечего делать смотришь в себя зрачками
останавливаешься когда просыпаешься ночью, чувствуя слева насос
и глаза на затылке глядящие кошку в бордовом ковре
кожуре сторожит шевелится и руку как будто сквозь линзу
через час засыпаешь обратно нет-нет, просто ты в пустоте
ты владеешь словами как раньше, а может, как позже
но не ты, а уезжий армейский дружок
(если помнишь, такая забытая песня) расскажет об этом, как может

теперь ты народ, задача твоя простая
безмолвствуй, перекрестись и держись за землю
поскольку это твой единственный дом
кто-то оговорился «общий». Кажется, перепутал
с животными и пришельцами. Ничего.

он со мной давно не разговаривает
закрой глаза руками
он со мной давно не разговаривает
было бы чем говорить, нечем, кажется

остальные говорят о пользе диеты. Верно, будешь молчать.

Об увядании – постоянно, будто в Средневековье.
Тело с каждым днём скисает, как молоко, пытаюсь обмануть время
Счастливые пишут о детях, что выросли и тоже умерли, как они

Мы стремимся по свету в аду Иеронима Босха, гния
Медленно, постепенно.

Он говорит, поэзия и речь
Молчат, не говорят. Сам тоже
Помалкивает.

Когда мы перестали выкладывать в соцсетях отчёты за каждый свой день,
Жизнь снова внезапно стала интимной,
Приватной.
Появились интимные привычки. Такие привычки...
Ещё очень похоже, что скоро все здесь станут примерно одних взглядов.
Политических, религиозных...

Как это возможно?
Останутся различия, но их нельзя будет называть.

Который год снятся редкостно реалистичные сны.
Иногда сбываются.
На этом ли ты свете, друг мой?
Я времени счёт потерял
И видел когда-то очень похожую дверь на этом,
Не помню, когда и где.

Поэзия молчит а что ей рассказать
Она рифмованное ремесло
Молчит и говорить не хочет
Поэт немногословен должен быть
Эмблематичен и как жало точен
Тогда-то он поэт, а не трепло!

Сосед с пятого этажа решил похудеть. Ещё дважды за последние сутки он
остановил лифт на своём пятом этаже, посмотрел в щёлку через полуоткры-
тую дверь и не поехал.
Кажется, я тоже похудела.

На этом свете и поэзия молчит.
На том она тоже молчит.
Поэзия молчит, жизнь завернулась и кончилась.
Краткими маршрутами движемся мы, и есть чувство, что следующие лет
пятнадцать будем жить последний нескончаемый год, не меняться бы ещё
лицами. И если мы встретимся с тобою, то не испытаем чувств. Они, если

встретятся, тоже не испытают, вместо этого они идут на войну героями, но сейчас такая война, что нас не возьмут в герои.

Есть другая поэзия, искусство, недоступное мне. Словесная вязь, похожая на капли дождя на оконном стекле в незнакомом городе.
Наверно, она тоже молчит.

Ночью снится кривой телевизор с Никулиным
Поёт, что ему всё равно
Голос у тебя пропал отживши
Или ты не в курсе новостей
Снова как будто попрятали в это детство
Фокусы для поколения
Ценность пропала (кожа ослепла
Полонский прётся)
В салоне Анны Павловны обсуждают фижмочки

Так шариком пугливым я летал
Поднявшись на большую высоту
И ничего не сможет рассказать
Иди, проклятый, в непонятный свет
А света больше нет, и жизни нет

Илья СКЛЯРСКИЙ

ДМИТРОВКАТАСОВ

Повесть

I

Катасов опустил пальцы в плавающие в небольшой навесной ванночке обмылки и повозил их друг об друга. Мыло растаяло в мокрой воде, и ему самому было странно и непривычно так растеряться. Катасов умыл руки и прошёлся до комнаты, где залёг под одеяло. «Это хороший образ, – подумал Катасов, – Как будто обломки от корабля, которые разжижаются, как будто агония, в которую я макаю пальцы. Но даже это необязательно, просто мыло такое странное вряд ли кто-то видел». Подумав так, Катасов очень испугался, вскочил, надел тапочки и понёсся снова в уборную. Потом вернулся в комнату, достал из шкафа пакет «Дикси», опять побежал в уборную и обнаружил там около раковины Лизу (туалет был общий). Она как раз макала пальцы в мыло.

- Привет.
- Привет.
- Ты с пакетом?
- Да.
- Понятно.

Катасов стоял на месте и смотрел на белый напольный квадрат-плитку, как бы на неё, на Лизу, но не на неё, давай, иди. Лиза вымыла руки, прошла мимо Катасова, он выждал ещё несколько секунд и стал загребать, кусочки мыла выскользывали, сразу не давались, но всё равно быстро обнаружили себя в пакете в полном составе.

- Всё в порядке? – спросил Коля, сосед Катасова, когда тот вернулся в комнату.
- Конечно.

Понимаете, в чём проблема. Проблема в том, что Катасов был писателем, то есть писал рассказы. Но писателем был не только он, но и все вокруг, все, кто с ним жил, потому что это было наше общежитие, общежитие Литературного института (мда). Страшно, чудовищно, какой-то помноженный мир. Что того хуже, были ещё и поэты, а поэты – это гораздо хуже, особенно в ситуации с таким вот мылом, потому что им его ещё проще приватизировать. Катасов просто надеялся, что он один заметил и что он один подумал, в целом он был довольно наблюдательным, но всё равно теперь трясся. Лиза видела, но Лиза дура, наверное. Кто ещё живёт на нашем этаже? На нашем этаже много живёт. Нет, это бесполезно. Катасов закопался под одеялом и постарался перевести дух: он очень был

Илья Склярский родился в 2003 году. Студент Литературного института им. А.М. Горького (семинар Р.Т. Киреева). Организатор серийных литературно-перформативных вечеров «Литреформа». Публиковался в журналах «Нате», «Формаслов», «журнал на коленке».

перевозбуждён. Только якобы успокоившись, он вылез, достал ноутбук и написал в нём: «Мне надо было помыть руки, и я задумчиво опустил пальцы в плавающие в мыльнице куски мыла. После я их подвигал, и понял: они обломки корабля, в которых плавают утопленники и утопленницы. Но всё-таки людям нужно мыть руки, поэтому судьба распоряжается так». Катасов остановился. Ему стало стыдно. Ведь людям правда нужно мыть руки, а он стащил, украл мыло, теперь им нечем мыть руки, руки теперь будут вонять, да и не он это мыло покупал, мыло покупают какие-то добрые люди, для всех покупают, а он, получается, злой. Катасов встал, оделся, и пошёл в «Дикси» за мылом.

На улице было много света и много солнца. «Дикси» был напротив завода плавленных сырков, настолько величественного, что Катасову всегда было странно, как старшекурсники, воспевавшие общезитие, не воспели заодно и этот завод, и он хотел воспеть сам, но ему было на самом деле всё равно на завод. В «Дикси» было грязно. Катасов всё равно купил там мыло и успокоено возложил его на пьедестал, который хотелось увидеть ладонью античной скульптуры, так сильно Катасову понравилось, что он сделал доброе дело. «Не осмысляй, не чувствуй меня», – было написано на мыле.

– А почему мыло? – спросил у Катасова Коля, который в отсутствии соседа заинтересовался пакетом.

– Так старое же. Поломанное, выкинуть надо. Я новое купил, – Катасов уже не волновался и не пережимался, держал шею гусем, дело сделано, интеллектуальная собственность защищена.

Катасов опять залез под одеяло и пошёл читать ленту. И сразу споткнулся, как пошёл, о стихотворение, свежее:

я как кораблик маленький
из щепочек дети сложили
плыву к тебе и об тебя разобьюсь
на много обломков мыльных
чтоб мог ты помыть свои пальцы
в моих останках

Катасов не мог понять, как случилось такое предательство. Все предпринятые меры по охране благородным прозаиком своего честно выстраданного образа оказались бесполезны. Автор с его этажа, конечно, Нина, у которой даже комната напротив туалета, логично, что у неё был самый короткий и лёгкий путь до озарения. Эти люди не знают жалости. Как падальщики, бросаются на любую кровоточащую рану на полотне, даже если к ней только недавно прикладывался кто-то другой. Катасов снова оделся и пошёл на улицу. «Пойду в какую-нибудь одну далёкую сторону, – решил он, – куда никто не ходит и где расстилаются свежие, не пожаренные пока земли».

Катасов нашёл маленькие дома, точнее один маленький дом, раскопированный на много, и начал искать, какой из них был первородным. Наверное, таким логично было оказаться дому номер один, но так очевидно, поэтому его не было совсем, отсчёт начинался с трёх и скакал через чётную цифру, поэтому Катасов долго ходил от дома к дому, сравнивая благородность. В довершение он постановил, что одним своим сознанием не справляется и ему нужно подкрепление, и тогда он на самом деле оделся и пошёл на улицу проверять.

Катасов мог засвидетельствовать положительное поражение воображения: на самом деле дома не были одинаковыми, даже явно родные были на оконную колонну длиннее один другого. И не менее положительное поражение реальности: дома под номером один действительно не было. Правда, был один и шесть, он же шесть и один, но стало понятно, что «мы с моей семьёй, в которой я был всегда один, хотя нас и было шесть: мама, папа, бабушка, собака, сестра Маша и я, жили в доме с говорящим номером один дробь шесть, и нас разделял этот косой барьер» – это сомнительная экспозиция, а больше ничего отсюда не выжать. На Гончарова один и шесть читаю Гончарова играю в 1.6 Наталья Гончарова ты а я великий классик но что мои труды перед моей же страстью твоим мясом пышным можно кормить зверей а я вызываю к барьеру тех кто оскорбить посмел мою честь и держите меня семеро. Размышляя не вполне так, но всё же обнаруживая сопереживание этим мыслям в связи с увиденным, Катасов дошёл до станции.

– Можно, кстати, отсюда поехать, – произнёс он вслух. Катасов любил говорить сам с собой, это задавало циркуляцию, слово стимулировало мысль, – блин, правда можно так поехать, приехать, – слово не стимулировало мысль, но стягивало её, думать дальше было нельзя, пока не втолкуешь «им», – можно куда-то приехать, где нет никого, – на улице Катасова всё-таки могли услышать, поэтому он только обозначал губами звуки, лишь некоторые овеществляя, – ну то есть не никого, а где не был никто, ну вы короче поняли, – Катасов никогда не пытался разгадать, к кому именно обращается в разговорах с самим собой, и почему их всегда несколько, а «они» и не давали повода, ведь сами всегда молчали, держались своего положения, – никто кто, никто кто помешал бы, – единственным качеством, которым «они» обладали, и благодаря которому хоть как-то обрисовывались, было непонимание с первого раза даже самого прямого, соединённое со способностью благодаря многократным повторениям понять даже самое туманное, – блин, не помешал бы, а писал бы, короче можно куда-то.

Разжёвывая самому себе мысль скоростью в долю секунды на протяжении нескольких кусочных фраз, Катасов походил самому себе на попавшего в сон, язык которого не слушается самого себя. Или не язык – руки, Катасову часто снилось, как его страшно убивали, а он в ответ тыкал убийцу разными такими штуками, карандашами, ручками, или вот резиновый меч, такими вот штуками. Рука слабла и не могла ударить, отекала, Катасов тыкал снова, и это, после многократных повторений и перемен предметов, приносило пробуждение.

На станции Катасов купил льготный билет и проявил себя как человек определённый. У него был выбор: он мог поехать наобум туда, где всё было бы впервые, удивлением от увиденного облегчил бы себя, и довольный тем, что не всё ещё исчерпано и что он теперь узнал способ себе это подтверждать, покатил бы назад до следующего раза. Катасов предпочёл вариант более сердитый: взялся ехать в город Дмитров, в котором уже вполне осознанно бывал. Это накладывало на него более глубокие обязательства и не обещало никаких бездельных успокоений.

В Дмитрове жила его тётя с мужем Тубановым, тётя по маминой линии, тётя Лилия Тубанова. Катасов сейчас подумал, что её имя-фамилия образуют единство плавных звуков и звуков бабахających (ну там какое-то другое название для них было), и что вроде бы и хорошо, раз единство, с другой стороны, сначала-то может и плавно, но потом-то бабах. Этот знак фонетического мира он с благодарностью принял, а заодно вспомнил, как тётя его в Макдональдс водила, в Дмитрове как раз, но тогда и фамилия у неё другая была, что

тоже, видно, не зря. Оттуда Катасов помнил только много людей и столы, и реальность с этим соглашалась. Зачем они, кстати, туда ходили? Может быть, его, на самом деле, держали в заложниках. Или её: учитывая, что подобных жестов балования со стороны тёти Лилии больше никогда не было, элемент скрытого принуждения точно присутствовал. Наверное, она как раз прогнозировала замужество, и захотела предварительно пощупать ребёнка, поэтому арендовала маленького Катасова на один Макдональдс. Потом тётя Лилия родила девочку. Значит, не всё ей тогда понравилось.

Дядя Тубанов казался Катасову более плодоносным. Во-первых потому, что не стерёг свои внутренности, а считал их всеобщим достоянием, которое ему поручено явить на свет, в виду чего, во-вторых, на фоне тёти Лилии создавал впечатление человека густо и сытно чувствующего, что Катасов отметил, когда дядя Тубанов, в-третьих, перевозил на машине его с вещами в общежитие. Катасов допустил самовлюблённую мысль о том, что дядя Тубанов, наверное, только и ждёт, когда же, наконец, в его дом зайвится человек, который не просто всё выслушает, но и вырастит потом из этого что-то своё.

Но Катасов ехал гостем не вполне к тёте и дяде, а больше к Дмитрову. Он считал, что строить своё от людей, конечно, можно, но это такой, более низкий уровень, от которого многого не добьёшься. Какими бы ни были тётя Лилия и дядя Тубанов для него единично ценными, он понимал, что не ценнее они какого угодно ещё человека, а всё то, что можно в них назвать особенным, происходит не от них самих, а впитано ими из чего-то, что неразумно больше, например, из города. По людям можно было пойти, но только чтобы выйти на то, что их такими сделало, и дальше уже научиться самому играть из себя город, играть из себя иную большую силу, тянуть из себя, как паутину, мицелий, совсем похожий на человеческий: что-то такое возбуждал в мыслях Катасов. Он собирался сличить тот Дмитров, который кое-как помнил (здесь раньше жили ещё и бабушка с дедушкой, его возили к ним), с тем, который увидит, и на сличении распознать какое-то лицо.

Вагон был немногочелюден, мало кто ехал, потому что зачем, ведь не очень много уникальных причин для поездки в Дмитров можно придумать, а человеческие дела Катасов особо не признавал. Он мог разве что допустить, что по диагонали, через проход, сидел мужчина, которому надо было на работу. Так было заключено, потому что ему по возрасту полагалось. Катасов учёл день, время, направление, и постановил, что работа у мужчины вольная. Мужчина не смотрит в окно: часто тут ездит, значит, и уже ничего по ходу поезда его не удивит, может, есть у него какой-нибудь любимый столб на пути, или любимый дом на пути, и он поднимет глаза без ошибки в установленное время на него, как тот несётся мимо, увидит, что тот ещё на месте, и поймёт, что сам, значит, тоже ещё на месте, но недолгая радость, глаза снова опустятся в пол, и дальше, до следующей сцепки, ехать как в темноте, жить как в темноте. Даже вольную работу иметь, а от этого не спастись. Катасов великодушно пожалел мужчину, но, конечно, потому что сам боялся ездить одним поездом, оттого и выдумал.

Давайте простим Катасову эти рассуждения. В конце концов, развлекается как умеет, заодно и мы тоже. Но мужчина быстро нашёлся как отомстить за унижения и, как только выстроилась у Катасова последовательность, начал смотреть в окно. Долго смотрел, не отвлекаясь смотрел, и прервался только для того, чтобы встать на пьяного. Последовательность посыпалась, но это ничего, потому что уже состоялась, и, как ей сразу и следовало, от мужчины отделилась.

Вообще, пьяный появился в вагоне раньше. Он не то чтобы что-то такое делал, единственное что был человек вселюбящий, и потому не мог разобраться, какое место и какой сосед ему больше к душе, от того и переваливался туда-сюда. Сперва сажился рядом с девушкой, через два окна от Катасова, которая сбивчиво наговаривала кому-то голосовые, но каждый раз, видя намерение пьяного снова к ней примоститься, бросала: «Сейчас!» и начинала копаться в рюкзаке. Она один за другим доставала оттуда разные предметы, крутила их в руке и заталкивала обратно. В ней пьяного как раз и интересовала эта многокомпонентность, такие странные порой вещи девушка извлекала из рюкзака, что пьяный их даже совсем не понимал, и оттого поражался невероятно. Когда пьяного наконец укачивало это увлекательное мельтешение, он уходил, и девушка начинала новую запись с громкого «Так вот!». Далее пьяный шёл разговаривать со старушкой. Он сажился напротив и говорил: «Ну что, мать, как ты?» Она не сопротивлялась, и в каждый визит пьяного заново рассказывала, что её зовут Анфиса Григорьевна, что ей семьдесят два года, что она едет из Москвы на дачу, а потом прибавляла к этому фиксированному вступлению какой-нибудь, каждый раз новый, факт про свою дачную злободневность. Выслушав Анфису Григорьевну, пьяный разводил руками и отправлялся в последнюю точку своего обхода, участвовать в жизни мужчины с огромной жирной и лысой головой. Этот мужчина сидел на другом конце вагона, и поэтому Катасов совсем не видел, что там происходило, но голову видел. Пьяный сажился наискось от мужчины, задумчиво сидел так пару минут, подавленный уважением к незыблемости мира, после чего ему было необходимо снова посетить девушку, чтобы разнообразить свои впечатления. Спустя несколько обходов пьяный всё-таки понял, что больше всего ему нравится сидеть рядом с ней, и даже остался бы на месте, но не мог просто так бросить Анфису Григорьевну и мужчину с головой, они уже стали ему чем-то вроде родственников, и поэтому он продолжал ходить к ним, но был более не так внимателен, даже не дослушивал теперь до конца старушку, а огромному мужчине в какой-то момент вообще сказал, посидев всего около полминуты: «Ну, я погнал».

Катасов не обращал на пьяного столько внимания, хотя и видел, что он как-то много ходит, но от этого только становилось ещё более мерзко и страшно. Он не любил пьяных и считал, что про них уже довольно. Он не любил даже и выпивающих, не любил потому, что эти люди переставали быть себе хозяевами. Алкоголь был в его взгляде такая же большая сила, как, например, Дмитров сила, но только злая сила, властная. Лелеющий каждую трещину на своей личности, пока ещё гладкой, как слабый мозг, Катасов совсем не хотел её отдавать, не мог представить, чтобы кто-то так просто отдавал, и поэтому его пугали пьяные картины. Он же видел, как люди меняются от алкоголя, как ведут себя иначе, этот в вагоне же не ходил бы так, если бы над собой владел. Значит, это совсем не он ходит, это ходит что-то огромное, что не только его, но и всех жрёт, и из-под глаз друзей Катасова, когда они выпьют, на Катасова всегда смотрит всё одно и то же, и сейчас Катасов то же видел.

Многие его одноклассники ещё и писали, выпивши. Всем сразу становилось проще, что-то подхватывало их и несло само, конечно, это было всё то же. На эту тему Катасов готовил целую исследовательскую работу, он рассчитывал найти единые приметы во всех «пьяных» текстах и таким образом изобличить всех этих, показать, что, пойдя по лёгкому пути, они себя утратили, отдали в чужие руки. Пока ещё ничего такого не нашёл, но видел ясно, как они все потеряются, когда поймут, что всё то вовсе не они писали.

Эти хождения пьяного закончились, когда, как сказано прежде было, мужчина с вольной работой встал на него. Он взял пьяного в руки и, подняв над полом, понёс к выходу, как спортивный снаряд. А когда ссадил, поезд тут же тронулся до следующей станции. Катасов посмотрел в обращённое на перрон окно и увидел, что глаза пьяного ему на этот раз понравились, может и впервые даже. Хоть они и были застланы, но им важно было, как он только что летал.

II

Когда Катасов вышел из Дмитровского вокзала, то впервые сильно испугался за своё предприятие, потому что, пока он ехал, то поезд дребезжал, и вообще движение было, то есть деятельность, не безделие, он делал занятие – ехал, теперь же Катасова разбил озноб, потому что дело от него начало зависеть. Он ещё был в промежуточном состоянии, когда по платформе шёл, потому что ноги уже его, но движение ещё нет, и его несло к турникетам, сосало на мороз. Катасов заранее знал, что там озноб, но на месте остаться, во-первых, было больше делом, потому что смена курса, во-вторых же больше безделием, потому что от страха перед делом. Совместить две эти противоположности в одном своём решении Катасов был не готов, а потому, предсказуемо, шёл, пока не вышел из вокзала.

Катасову нужно было срочно убедить себя в том, что он чего-то уже добился или напал на след, и так всегда было, когда он к чему-нибудь приступал, потому что иначе началась истерика, дело становилось безнадёжным, сам Катасов становился безнадёжным, заниматься ничем больше было не надо, только драться, дрался мальчишески, драться считал не нравственным, дрался внутренне. После очистительного акта самодраки наступала новая стадия, когда можно было на возобновлённой и уже менее буйной тяге снова попытаться взять дело нахрапом. Но это был путь болезненный и грустный, потому что предполагал смиренное принятие того, что сперва-то ничего не получилось.

Катасов даже вспомнил пьяного, но тут же осёкся и сказал: «Не, ну их много, мне не то. Ну их много, которые, и так много». Катасов смотрел и видел башню, в башнях бываюют принцессы и вода, всё это, впрочем, ерунда, кто мы друг для друга, я кружок ты угол. Башня там правда есть, там водонапорная башня, которая больше похожа на кукушкин дом. Катасов смотрел на людей и ничего не видел, кроме того что каждый из них всего себя ставил, чтобы Катасова уличить в бессилии.

И тут Катасов заметил человека. Может быть, он его придумал, то есть не вполне он, а его сознание, в обход самого Катасова, чтобы уберечься от краха, придумало. Человек шёл ещё вдалеке, и Катасов увидел, что этот человек внешне выглядел как Баранский. У Катасова было плохое зрение, и поэтому он часто в незнакомых людях узнавал других людей, знакомых. Ещё ему, конечно, хотелось видеть знакомых людей почаще случайно на улице, потому что это событие. А события составляли его жизнь, то есть его писательская память стирала всё, что событием не было, и поэтому Катасов ничего не помнил, кроме событий. Это, конечно, характеристика радикальная, и как будто он сам разозлился на свою память и это сказал, отчасти так оно и есть. Но как-то раз в туалете Катасов не разозлился, а, наоборот, обрадовался своей памяти, потому что понял, что ему было бы неприятно, если бы она хранила в себе каждый его раз в туалете. Подумав так, он, к

сожалению, сам занёс в свою память именно этот раз в туалете как событие мысли, но только именно этот.

Баранский, которого Катасов узнал в проходящем, не был кем-то особенным или близким. Они с Катасовым когда-то ходили в одну театральную студию, и был спектакль, где Катасов был фашистом, а Баранский красноармейским солдатом без ноги. На одной репетиции Баранский так распалился, отстаивая себя на допросе, что плюнул Катасову на лицо. Педагогу понравилось, он сказал, что это гордо, и включил в постановку. Но на другой репетиции Баранский недоплюнул, плюнул снова, мимо, для третьей попытки еле набрал слюну и плюнул на себя. Педагог сокрушался, говорил, что это уже не гордо, а жалко, и что если так случится на спектакле, то это послужит неправильному пониманию персонажа. Тогда договорились, что Баранский плевать будет понарошку, а Катасов хвататься за щеку по-настоящему, и зрители правильно поймут, что произошло, хотя ничего на самом деле не будет. Катасов был этому рад, потому что ему не нравилось ощущать слюну на своём лице.

Когда человек как Баранский, идущий, похоже, на вокзал, приблизился к стоящему на месте Катасову, Катасов понял, что это, кажется, Баранский и есть. От неожиданности Катасову дунуло на внутренности, и он закричал:

– Влад!

Влад остановился. Это был Баранский. Катасов подуспокоился:

– Ты что делаешь в Москве?

– Да мы вроде и не в Москве.

– Ну... тут.

– Иду на вокзал. Привет.

– Привет. Как жизнь?

– Да нормально в целом. Переехал.

– Куда?

– Сюда переехал. Да. А ты тут что делаешь?

– Я приехал... приехал в гости.

– А. Странно.

– Почему странно?

– Ну странно, что сегодня.

– А ты сам куда едешь?

– К девушке еду.

– У тебя есть девушка?

– Есть.

– Она не из Дмитрова?

– Нет.

– Понятно. Ну хорошо, что у тебя девушка есть.

– Да, хорошо.

– Нравится?

– Нравится. Слушай, Катасов, я тебя спросить, кстати, хотел, в связи со всем этим.

– Что такое? – Катасов заметно испугался, потому что что-то теперь выходило, как будто это всё Баранский подстроил, и значит это теперь Катасов у него в событии, а не наоборот, а значит Баранский как бы главный, а Катасов как бы второстепенный и не знает, что ему надо, а Баранский знает.

– Помнишь про «Тучи над полями»? Где ты фашистом был? У меня там ещё ноги не было.

– Помню, – подтвердил Катасов. Он, вроде, начал радоваться, потому что Баранский заплыл в его залив. То есть Катасов же очертил заранее круг, вспомнив этот спектакль, а значит, теперь это он Баранского обуславливал.

– Значит помнишь, как я тебе в лицо плевал. Ты помнишь? Там сцена допроса.

– Я помню.

– Ты помнишь... Шчас немного странно будет, ты помнишь мою слюну на своём лице?

– Ну, – Катасов вытер щеку, – помню.

– Супер. Блин. Как я хорошо тебя встретил. Вот вопрос сейчас ещё один будет, по поводу слюны ещё спросить хотел. Вот я на тебя плюнул, это только один раз и было, ты вытер, как сейчас вот вытер, и вот... тебе пахло чем-нибудь?

– Слюной, думаю, пахло.

– После того как вытер?

– После того как вытер, думаю, уже не пахло.

– А ты можешь, пожалуйста, вспомнить поточнее: пахло или не пахло?

– Ну сначала точно пахло.

– Сначала понятно, что пахло, а когда вытер?

– Ну наверное уже не пахло.

– Ты обещаешь, что не пахло?

– Ну, – Катасов для чего-то понюхал пальцы, – слушай, я не могу наверняка сказать.

– Блин. Это ситуация. Нам надо решить, потому что я тебя больше никогда не увижу и не спрошу, даже если ты вспомнишь. Давай в ВК добавимся, ты мне напишешь, когда вспомнишь? Я тебе сам напишу. Или подожди. Ты же не вспомнишь. Подожди, Катасов. Слушай, а можно мы проведём эксперимент?

– Что ты хочешь?

– Помнишь, Александр тогда сказал, чтобы я на тебя всегда плевал? Но в итоге не получилось, и мы решили, что будет как будто?

– Да, я помню. Ты ещё на себя тогда плюнул. Что ж ты не понюхал?

– Да-да-да, вот, я на себя тогда плюнул, а на тебя не плюнул. То есть один плевков, ну, одна слюна, она как бы штрафная.

– Почему штрафная?

– Потому что надо было на тебя плюнуть, а я не смог. Если бы я смог, то со второго раза ты бы уже точно запомнил, пахло или не пахло. Да и тогда много раз бы ещё было, ты бы точно запомнил. А так в принципе необязательно много, можно ещё один раз.

– В смысле?

– Ну чтобы я на тебя сейчас ещё один раз плюнул. Как в старые-добрые. Ты вытрешь-ся и скажешь, будет ли пахнуть.

– Влад, ты долбанутый?

– Да блин, ну это важно же. Ладно, я могу не плевать, но ты тогда скажи, пахло или нет? Ты будешь решающим свидетелем.

– Я не помню.

– Тогда придётся плевать. Да ладно, это же интересно. Приключение! Событие.

Не ясно, как Баранскому получилось так точно угадать слово, подобрать пароль, но Катасов усмотрел в этом знак. Он знал, что ему нельзя пропускать возможность взять

историю, а она тут уже была, почти приготовленная, только что без финала. Катасов чувствовал, что за историю он готов не только чтобы ему в лицо один раз плюнули, но чтобы ему в лицо десять раз плюнули, даже чтобы он в слюнях ещё десять дней ходил. Да даже если бы всё наоборот было, и это Баранский был бы тогда фашистом, а он, Катасов, безногим красноармейцем, и если бы Баранский ему сказал, что типа помнишь, у тебя ноги не было, давай мы для эксперимента тебе её отпилим, даже тогда, Катасов чувствовал, он бы согласился, чтобы для истории. Да это и вообще было бы большой удачей, он бы написал книгу про жизнь безногого, он бы описал всю половинчатость, которую чувствует в себе человек без ноги, как он знает особый магазин, где можно купить только один ботинок, как он хочет поиграть с детьми, а дети с ним поиграть не хотят, потому что дядя без ноги и это страшно, потому что они не понимают, что такое дядя без ноги. И, в общем, ещё много всего можно было бы придумать, будь он без ноги. А ещё любой из этих двух эпизодов можно было для названия использовать и назвать «Магазин одного ботинка», или назвать «Дядя без ноги», и то и то Катасову нравилось, можно было бы даже назвать «Магазин одного ботинка, или дядя без ноги». Но это всё, конечно, стало бы возможным, только если бы Баранский сейчас отрезал Катасову ногу, Катасов был честный человек, и оскорблять безногих людей своей лживой игрой в безногого не смел бы, они без ноги всегда, а он только когда хочет, сначала без ноги, потом с ногой, а на самом деле всегда с ногой, это было бы подло.

Несмотря на свою честность, Катасов считал правомерным этого выдуманного безногого приватизировать на роль второстепенного персонажа, и всё понять о безногом внешним взглядом, точнее не о всех, но о необходимых Катасову чувствах безногого понять. Как внешне увиденные, эти чувства могли, в понятиях Катасова, считаться истинными, как в случае того мужчины в поезде, который смотрел в окно. Да и тот, кто написал «Тучи над полями», того же мнения, похоже, был.

– Давай событие, – ответил Катасов после долгого молчания. Со стороны казалось, что он думает решаться или думает не решаться, но на самом деле он думал о безногом.

– Что, прям тут? Не ну давай отойдём куда-то. А то замёрзнет.

Катасов не понял, что может замёрзнуть, и, пока они отходили, всё удивлялся этому, потому что чувствовал мороз только на внутренностях, а никак не с улицы: была весна.

– Вот тут нормально будет, – остановился Баранский, – я тогда сидел, – Баранский сел на землю, – а ты тогда стоял, стой. Смотри, ты говорил мне что-то. Ты помнишь слова?

– Нет.

– Да блин. Лучше бы я в кого-то другого тогда плюнул. Ты не обижайся, но правда. Точно, вас же там двое было. Вот почему я в Стёпу не плюнул?

– Потому что у него слов не было. Он просто стоял.

– Точно, он же был типа лоховской фашист.

– Ну, не лоховской. Обычный. Слушай, Баранский, а ты не можешь просто плюнуть и пойти по своим делам? Зачем тебе этот спектакль разыгрывать? Тебя же там девушка ждёт вроде как.

– Нет, ты что, если она узнает, что я такой шанс упустил, она мне сама потом скажет, чтобы я обратно ехал, искал тебя. Ну ладно, могу и просто так плюнуть, – Баранский встал с земли.

– Да, давай просто так. Ты тем более промахнуться можешь, ты же всего один раз в жизни попадал. Давай поближе.

Баранский взял Катасова за левое плечо, чтобы тот не одёрнулся, передумав вдруг, когда слюна уже полетит. Катасов повернулся щекой, и ему сразу же перестало всё это нравиться, он бросился искать почву: надо было как-то вдохновиться ситуацией, да? Вроде бы ситуация уже необычная, вроде бы даже вдохновился уже, может и хватит, может так даже необычнее будет, да и на что тут вообще можно вдохновиться? Баранский замызгал губами, набирая слюну. В таких случаях можно по порядку всё написать, конечно. Приехал на вокзал, встретились, вспомнили, даже есть какая-то печать высшего в этом.

Слюне было лететь близко, и поэтому она совсем не растрепалась при полёте, а обильной, даже какой-то космической массой врезалась в щёку Катасова. Приземлившись, слюна сразу же обмякла и разложилась на поверхности. Катасов попробовал отмахнуться, как бы в припадке сперва ударил Баранского по лицу, потом спихнул его ладонь со своего плеча, только с третьей попытки попал по своей щеке, стряхнул слюну и тут же бросился бежать.

– Стой! – кричал Баранский, – ты забыл! Уговор!

Остальные слова Баранского были перехвачены дыханием: он побежал вслед за Катасовым, но уже не мог его нагнать. Катасов летел, превосходя возможности своего тела, как будто оно, слабое и опозоренное, должно было остаться позади, пустив душу дальше одну.

III

«И в чём тогда Дмитров? – думал Катасов, перейдя вдалеке на шаг, – в чём сила Дмитрова? Что меня тут опустили? Оплевали. Да, раньше такого не было в Дмитрове. Дед любил плевать. Но дед не в меня плевался, он просто так, под ноги. Но Баранский и не отсюда, хотя тут живёт. Значит, через него и Дмитров не поймёшь. Да я его вообще не понимаю, Баранского не понимаю. Раньше проще с ним было, я на него кричал просто, мы как-то больше и не контактировали».

– Ну, это по роли в смысле, – пояснил Катасов вслух, – по роли кричал. Я кричал. Я кричать не люблю, я по роли. Я фашист. Я по роли фашист тогда, ну а так я нет.

По улице с Катасовым никто не шёл, и он мог свободно думать внешними словами, как в пустой комнате.

– Ну тихо. Тихо это не только тут. Дома тут. Ну вот ещё как будто я всё время вверх куда-то. Да это не то. Город слабый типа, что ли. Не видно силы такой большой. Ну он же маленький. Зря поехал. Только по лицу наплевали. И что мне теперь с этим. Чего я согласился-то... забыл. Нет, ну в смысле не забыл, я помню. Чего я забыл, я не забыл. Я чтобы событие. Только какое событие, когда наплевали. Наплевали. Наплевал, он один. Влад наплевал. Сука Влад. Не ожидал от Влада. Он уже плевал, конечно.

Катасову показалось, что ему на щёку села муха. Он смахнул её и ускорился, чтобы она не могла вернуться. Ещё у Катасова засох рот, и он закрыл его, да и как-то обидно ему было всё это говорить, поэтому он решил дальше думать мысленно. Мысленные думки были умнее, но слабее, то есть по ним можно было до чего-то дойти, но зато нельзя было ни в чём утвердиться. Чтобы утвердиться, надо было сказать вслух, то есть овеществить мысль в мире наружном, если она сказана, значит она есть, и значит она правдива, так

считал Катасов. А найти какую-то необидную мысль, в которой хотелось бы утвердиться, Катасов здесь пока не мог.

«Если я просто беру и перелагаю вот эту историю, что вот один другому предложил поплевать, второй согласился, чтобы поплевал, а потом тот ему поплевал и он убежал, ну всё круто типа да, но тогда нафиг я сюда ехал, в смысле что это вот это типа впечатление, а это совсем не когда что-то важное и большое понимаешь. Это какая-то рубрика “случай на вокзале случился”, а я что-то большое хотел, чтобы город, как Белый Петербург, только Дмитров какой-нибудь... Катасов. А ещё тогда непонятно, зачем мне было, чтобы на меня в конце плюнули, чтобы я побежал, что ли? Это неостроумно, я это и так придумал бы, без личного опыта. Я должен был что-то понять от того, что плюнули. А я понял только, что зря плюнули. Может, так и должно быть? Типа ирония. Типа всё бессмысленно. Ну да, это правильно. Смиренно».

Катасов остановился, достал телефон и попробовал написать. Вот что у него получилось:

Писатель Склярский приехал на вокзал и был растерян он знал что ему работать пора была он принялся искать кого-то и возник внезапно кто-то знакомый вполне из вполне незнакомого до лица вообще-то Склярский видел плохо был близорук и любил видеть больше чем мог мнить о себе больше чем мог чем было можно больше мнить о себе любил и хотел почаще встречать кого-то чтобы кто-то был с ним рядом знакомый типа чтобы в итоге было событие.

Ещё тут дело в памяти память Склярского была писательская Склярский не запоминал всё что событием не являлось оно из его головы выпадало куда-то.

Катасов устал, но ему было интересно, но надо было найти куда сесть, а лучше лечь, но лечь было некуда – проблемы экспансивного творчества.

Сесть нашлось рядом с какими-то пустыми фонтанчиками, Катасов продолжил:

Увиденный оказался Тасовым

(Катасов загуглил, что правда была фамилия Тасов. Он хотел, чтобы читатели думали, что он зашифровал себя в героя, который крутой и плевал, а не наоборот. На каком-то сайте писали, что «фамилия Тасов звучит гордо и мощно» (<https://alfacasting.ru/familii/istoriya-i-proisxozhdenie-familii-tasov-uznaite-kak-pravilno-sklonyat-v-odnoi-state?ysclid=lo0nknwvlf791079344>) – можете проверить, и ну вообще прочитать про фамилию Тасов, если вам интересно будет. Катасову было интересно, и он прочитал, что имя (???) Тасов является гордостью многих родов и народов, фамилия Тасов являлась уникальной и редкой, но теперь фамилия Тасов является частым выбором молодых родителей для своих детей (???) и в последнее время людей с фамилией Тасов становится всё больше. В самом низу, только для особенно преданных величю фамилии (даже Катасов до туда не добрался), было написано, что среди известных носителей фамилии Тасов можно назвать профессионального американского боксёра Майка Тасова.

Катасов так впечатлился этой статьёй, что захотел присоединиться к Тасовым, подержав их естественное пополнение своим менее естественным, но куда более осмыслен-

ным, и придумал себе псевдоним – К. Тасов, который звучал как Ка-Тасов. Впоследствии произошла редукция, и К. Тасова стали называть Катасовым. Эта новая, созданная волей людского языка, фамилия, ему так понравилась, что он установил её себе в паспорт и стал называться Катасовым. Вы бы хорошо его поняли, если бы были молодыми родителями, потому что тогда наверняка захотели бы дать своему ребёнку фамилию Катасов, даже в обход тренда на фамилию Тасов.

Да, раньше у Катасова была другая фамилия, и на момент описываемых событий тоже, но неспроста же он её потом поменял, значит, ему было бы неприятно запомниться под ней, и стоит это учитывать. Хватит того, что она действительно была похожа на фамилию Тасов, с тем только отличием, что больше походила на оскорбление или несмешную шутку, чем на фамилию. Итак, увиденный оказался Тасовым).

Увиденный оказался Тасовым а Тасов не то чтобы что-то а просто Тасов что был когда-то вместе со Склярским в спектакле играл фашиста плевал однажды единожды только раз

Катасов понял, что получается какая-то гладкая, глупая беговая дорожка, всё стёр, и пошёл заново. Вот что вышло:

Склярский приехал в город Дмитров ради новых впечатлений. Он жаждал их не просто как какой-нибудь праздный человек, впечатления составляли его пищу по позволительной причине – Склярский был писателем.

Далее было в том же духе, снова о писательской памяти, снова Тасов из театральной студии, и да, тут Тасов был фашистом, и при этом Тасов же плевал. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы читатели, которым Катасов когда-то рассказывал, что играл фашиста, вернее дошли до требуемого сопоставления. Диалог у Катасова получился точно живее и лаконичнее приведённого здесь, да и вообще у него как-то всё стройно вышло, например, без отступления о безногом. В конце Склярский, в которого плюнули, убежал быстрее, чем могло бы его тело, и заканчивался рассказ мыслью о душе. Вы можете видеть, что именно эта зарисовка в телефоне Катасова послужила основой для эпизода, помещённого в тексте выше.

Всё вышло стройно, но Катасову не понравилось. Всё казалось ему ложным, хоть и было написано по правде, и от того, что ложь вылезала не из ничего, а из правды, она была куда мерзее.

– Душа, душа. Конец надо другой. Не конец. Начало. Какое начало? Я не начало имел. Имел в виду то есть. Я про продолжение. Ну, это когда продолжается что-то. Надо чтобы продолжалось ещё. Надо поесть.

В отличие от сочинённого Катасовым писателя Склярского, пищу которого составляли события, сам Катасов, как бы ему там не хотелось, питался обычной едой, той же, которую едят все просто люди, а не писатели. Карты сказали, что ничего рядом нормального где поесть не было вообще, поэтому Катасов решил, что пойдёт он в недалеко отсюда монастырь и там поест монастырских пирожков. «И тело покормлю, и душу. Мир». Эта афористического характера мысль его добродушно рассмешила.

Катасов шёл и снова напряжённо ждал события. Ему даже захотелось в одну отчаянную минуту, чтобы из-за угла вышел Баранский, оставшийся в Дмитрове, потому что без разрешения слюнного вопроса его не приняла бы собственная девушка. Даже захотелось, чтобы Баранский снова предложил плюнуть, даже чтобы снова плюнул, даже не убежать в этот раз, а может, хотя бы выяснить, для чего это всё было так нужно. А что если наоборот-переворот, и сказать Баранскому, что Катасов сам в него плюнет, а тот сам понюхает? И обидно стало, что сразу до такого не получилось додуматься.

Но Баранского не появлялось, а вместо него оказались двое мужчин на конях, мужчины-памятник. Катасов знал, что это Борис и Глеб.

III

Что Катасова поначалу удивило в монастыре – это павлины. То есть он на территории нашёл павлинов. Павлины ходили внутри загона, а Катасов не знал, что такое бывает в монастырях. Он решил, что это, наверное, придумали, чтобы отражалось бессилие земного богатства не только в небе, но и на земле. То есть павлины же с такими красивыми и гордыми хвостами, но тут их посадили в загон, и вообще, это как если бы в монастыре держали в загоне плохих людей. Катасов рассудил, что лучше бы им просто хвосты отрезали и пустили погулять, они бы тогда всё ещё являли символ о том же, но уже более вдохновляющий. А павлины все действительно были с красивыми хвостами, самок почему-то не было.

Вторым после павлинов был мальчик. К мальчику ещё относились мама, священник, и парализованные мальчиковые ноги. Всё это видел Катасов ещё вместе с инвалидной коляской внутри храма, шёл какой-то тихий разговор между взрослыми, а мальчик смотрел на стены со святыми. Катасов же смотрел на мальчика, на его лицо, и понимал, что к нему не может подступиться, ему не может дать объяснения и встроить в себя, но не как Баранского, который просто бред, а как то, к чему храм подходил. Взрослые ушли куда-то, и Катасов с мальчиком остались совсем одни.

– Привет, – сказал мальчик.

– Привет, – ответил Катасов.

– Ты спросить хотел, – подсказал ему мальчик.

– Да, я хотел спросить, – вспомнил Катасов, – тебя вылечат? Они об этом говорят? Спасут святым духом? – Катасов не был религиозен, но сейчас испытывал что-то среднее между желанием дать надежду мальчику и желанием найти надежду для себя. Поэтому врал – от страха.

– Говорят об этом, но не вылечат. Меня вылечить нельзя.

– Нет, почему, откуда ты взял. Конечно, не святым духом, но врачи, медицина, сейчас можно, там нервные контакты какие-то восстановить. Нет ничего, что нельзя бы было.

– Есть. И ты не просто так боишься, потому что тебе тоже вылечить нельзя. Но это на самом деле не страшно, а хорошо, потому что другое – можно.

Мама и священник вернулись.

– Вы вылечите, пожалуйста, вашего сына, – сказал им Катасов.

III

Найти квартиру Тубановых Катасову помогла мама. Он ей сказал через телефон, что поехал повидать окрестности, оказался в Дмитрове и теперь подумал – чего бы не зайти к родственникам. Ещё сказал, что монастырь красивый, и с павлинами. Уже был вечер.

Катасова гнало к дому тёти и дяди, потому что в нём проснулась необходимость поговорить с каким-нибудь нормальным человеком. Его давило ощущение главенства чужого над его сознанием, и когда Катасов пробовал подумать над всем, что на него свалилось, он выходил к тому, что пока его не было в Дмитрове столько лет, город, видимо, следил за ним и только его и ждал, чтобы посмеяться. В родственников Катасов верил, да и чувствовал, что пока ещё окончательно не отстрелялся, и лучше всё закрыть, чтобы больше сюда не вернуться.

– Костя, ты, что ли? Привет! Мы тебя ждали! – радостно встретил дядя Тубанов.

– Ну вообще-то не ждали, – услышал Катасов из квартиры тётю Лилию.

– Сначала не ждали, а потом уже ждали. Твоя мама сказала, что ты приехал. У нас там и есть кое-что, заходи.

Катасова стали кормить. Дядя Тубанов сел напротив него на кухне, и когда Катасов доел остатки тубановского ужина, сказал:

– Ну, рассказывай.

– Ой, дядь Паш, ну, ничего интересного, давайте лучше вы рассказывайте.

– Я рассказать всегда готов, ты знаешь. О, вот тебе, слушай, случай для писателя. Ты же писатель? Ты писатель. Слушай случай для писателя. Что было. Выхожу я сегодня, с машиной копаюсь, и тут другая машина, которая рядом припаркована, ауди а семь, соседа такого, он ещё бритый всегда, ну ты не знаешь, его машина такая: «ба-бах!». Я отскочил, испугался, думаю: что такое? А я рано встаю, это пять утра где-то было. А пять утра это всегда тишина такая, то есть даже если где-то ворона каркает, то очень слышно, а тут такой звук, ну ты понял, даже я испугался. Это вот обязательно надо, что контраст, тишина и ба-бах, ну не совсем ба-бах как взрыв какой-то, но такой, бабахующий звук, в общем. И что ты думаешь? Я вижу: земля. На асфальте земля, такими комками, на машине, а крыша машины уже всё, уже тю-тю, внутрь вогнулась, и земля везде рассыпана: это первое, что я увидел, что земля. И тут что-то летит сверху, и опять на машину на эту, туда же, и опять звук, и земля опять разлетается, ещё шире площадь. Это очень страшно было! Но я понял, что то, что сверху летело, что это горшок с каким-то деревом и что до этого тоже, значит, горшок был, потому что земля из него. Ну я думаю: третьего раза не будет. Но там ещё моя машина же рядом стоит, надо увезти её от греха подальше, а если я сяду внутрь, а на неё горшок прилетит, то я сразу того, и ситуация, да: что делать? Тут, знаешь, в таком, не юмористическом плане, а очень серьёзном и трагедийном можно, что человеку вообще-то совсем непонятно, что делать, потому что – риск, потому что – имущество, потому что – жизнь, потому что – необъяснимое что-то. Потому что горшки сверху не летают обычно, но тут главное, чтобы не юмор, абсурд какой-то, потому что тогда будет ха-ха и забыли, а это совсем не про ха-ха история, а про человека история, про отчаяние. Но этот момент тоже важный, вот мой именно ракурс, что мне страшно и я на волоске, и выбор надо делать. Ну и, – дядя Тубанов посмеялся, – ну ладно, тут всё-таки смешно на самом деле вышло, вот немножко смешного есть, потому что, пока я думал, что делать, всё и решилось. Ну то есть всё, стало понятно, что всё, что ничего больше не полетит.

– Как стало понятно? – перебил Катасов.

– Да вот как-то просто понятно стало. Вот такое чувство бывает, если какая-то опасность, когда тебя всего прошивает, то есть ты весь как бы сливаешься с тем, что происходит, с тем, что вокруг, и как бы ты орган какой-то, что ли, один из органов, а что в одном органе – то в другом органе отдаётся, отдача. И я вот как-то так и почувствовал, что всё. И так оно и оказалось, что всё закончилось, и я выбрался, ну то есть просто вышел, ещё думаю, что да, конечно, отремонтировать машину теперь придётся, соседу-то, а это у-у. В общем, и что ты думаешь? Это же ещё не было самого интересного. Это же пока всё ещё абсурд, хоть и с таким страхом, но страхом, который заканчивается – пш – и нету, вот так заканчивается, и ничего из него, а почему оно так, а потому что не туда смотрели, потому что герой главный – другой герой на самом деле, потому что не я, я просто рассказываю, понимаешь, я рассказчик, а тут есть главный герой ещё, в этой истории. В общем, оказалось, что горшки не просто так падали. Потом оказалось, вот только недавно сказали нам, что сосед наш по дому, другой, ещё сосед, в общем, была у него грустная история, я не очень знаю, но какой-то крах, какое-то отчаяние его настигло. Он в результате этого отчаяния выпил, выпил сильно, очень сильно, где-то ещё далеко отсюда выпил, и приехал домой. И ему так зло стало, так отчаянно, что – вот тебе должно быть это близко, я думаю, потому что что за фантазия творческая у человека. Горшки с деревьями, которые у нас тут внизу стояли, он начал относить в лифт. Ты понимаешь, это не какой-то импульс, не вот что когда разозлился и ударил, это методично, это отчаянно, как я уже сказал, ну ты так много раз не повторяй, если будешь писать, то есть извини, это твоё дело, но, в общем, это как план злобного гения, но только тут не то, тут как, как закапывать самого себя лопатой, по горстке земли бросать, на самого себя. А горшки, ты представляешь ещё, какие они тяжёлые? Их вдвоём только поднять можно, вот он два отнёс и устал, наверное, и поехал, поехал на крышу, поднял их на крышу, поднял эти тяжёлые горшки на крышу, и ведь шёл к своей цели, не останавливался, не передумал, это только большая воля, а как это выдуманно, это вообще никто никогда так не придумает. Я восхищён, как ты понимаешь. И вот он начал их сбрасывать. Это, опять же, какую силу в себе надо было найти, и – какой творческий акт. Ведь это вот оно самое, выброс эмоций, разрушительный, потому что это выброс отчаяния из души, вот как я это вижу, потому что в его теле не было силы столько, чтобы выразить то, как он страдал. А я видел, как он на самом деле страдал, ты понимаешь, я лучше всех видел, я тебе сказал, что я как орган был, так я правда как орган был, ты понимаешь, я как будто в его душе самой побывал, в которой такой удар, и такой крах, и земля повсюду разлетается. И теперь ему компенсацию выплачивать. Они там как-то договорились, что он ремонт оплатит, какие-то издержки простоя. Хорошо, что договорились. А это потому что сосед на ауди, ну который пока не на ауди будет, хотя ему машину разнесли, он тоже понимает, что это творческий акт, у нас всегда глубокое уважение к искусству было во всех массах. Такая вот история, такое вот могу тебе рассказать.

– Дядя Паша, мне это не близко, – Катасов давно обиделся, но хотел пронести обиду до конца, чтобы дядя Тубанов понял, что это дело серьёзное, а не просто импульсивная реакция, – дядя Паша, я пьяных не люблю. И я не буду про пьяных. И мне не близко, когда у тебя эмоция, и ты считаешь, что этого достаточно для того, чтобы был, как вы говорите, творческий акт. Потому что нужна мысль, нужно обоснование, нужно, чтобы продуманность была. А такие творческие акты вы вот поэтам оставьте, потому что скинуть горшок, написать стишок – это всё в их стиле. Можно ещё насрать просто.

– Ты понимаешь, что с человеком было вообще? – дядя Тубанов стал серьёзным, и даже как будто злым, чего Катасов от него не ждал, – что может быть важнее, чем когда ты падаешь на самое дно, когда ничего у тебя не остаётся, и когда ты находишь какую-то фантастическую совершенно, нереальную, выдуманную, самому себе нафантазированную бредятину, и за неё, себя за волосы, вытаскиваешь обратно к жизни? Что, твои мысли важнее? А твои мысли, они, извиняюсь, о чём? Нет, ты прости, но твои мысли – они о чём? Они случайно не о том же самом, что этот горшок? Потому что если они не о том же самом, то зачем они тогда вообще нужны? Потому что со всем остальным я и без твоих мыслей разберусь, извини, но разберусь. А с этим могу и не разобраться.

III

Катасова положили на диване, потому что было уже поздно, хотя уехать ещё можно было. Катасов констатировал, что не побывал ни в одном месте из тех, которые видал с дедушкой и бабушкой, что ничего не понял про силу Дмитрова, что было много всего неприятного. Но под одеялом было тепло, он наконец-то лежал, и это держало его в приличительном спокойствии.

«Интересно так рассуждать, конечно. Ну, его не переспоришь, всё свой взгляд, но это он сам экспонат тогда. Может, и Баранский искусство сделал, когда на меня наплевал? Да, то самое откровение дяди, тайное знание. Тайное знание, что всё это не надо и что ничего в этом и нет, крутое знание. И мальчик тоже – тебя не вылечишь. Это он тоже про это, тоже об этом сказал. Может и правы они все. Вот я пытаюсь писать, и ничего не получается. Можно другое. Другое что-то можно, а что можно? Много дел конечно в мире есть. Вон дядя Тубанов на работе работает. А что если и я буду просто на работе. Ему вроде бы неплохо. Нет, может я пока просто маленький ещё, невзрослый, вот ничего и не знаю. Я думал, поеду – напишу. Да я же написал. Нет, это не я написал, без моего участия, там ничего такого, чтобы от меня. Правда, у меня же даже ещё не было ситуаций таких, как дядя Тубанов говорил, когда на дне и отчаяние, когда ты хватаешься. Может когда будут, тогда и пойму, что что-то написал. Точнее, что напишу что-то, что могу. Я же ругаюсь, мне не нравится, когда что-то плохое пишут. Я говорю, ну говорю, думаю, я думаю, что лучше бы не писал ты, зачем ты пишешь, ничего не получается, плохо, это плохо, это позорно, это нельзя. Да, вот это как раз-таки нельзя. Мальчик говорил, что какие-то вещи нельзя. Вот плохо писать – нельзя. Вот ходить с парализованными ногами тоже нельзя. И у меня парализовано, может, что-то, как дядя Тубанов орган если, то разные органы какие-то бывают, вот у меня парализован орган тот, который чтобы писать. И вылечить нельзя. И что я, из-за этого плохой какой-то? Можно другое. Мне же главное, чтобы дело было. Вот моё дело – писать, вот я стараюсь, вот я даже поехал, вот в меня плюнули даже, вот ну вообще всё, всё, всё, а всё равно нельзя, значит, что не моё дело, просто не моё. Если я всем говорю, когда они плохо пишут, что не пишете больше, значит и себе так говорю – не пиши больше. И это честно, что не пиши больше, если не можешь. Я всех людей уважаю. Люди занимаются своими делами, то есть я уважаю тех, кто хорошо делает то, что умеет, потому что много дел полезных. И себя тоже могу уважать, смогу, если буду делать что-то другое, но хорошо».

Катасов вскочил и подошёл к подоконнику. Он посмотрел в окно: было невысоко, и поэтому он видел землю, много земли, ещё деревья, асфальт, другие дома, фонарь видел. На подоконнике стоял цветочный горшок.

– Смешно. Блин, ну это смешно. Я бам. Я ба-бах. Ну а чё, ему нравится. Кому? Ну дяде нравится. Ну ему понравилось, ему акт. Акт не театр, акт ну типа действия, когда сделал. Ну я не буду. Я вот не творец.

Катасов вернулся в кровать.

«Ну я наверное буду пробовать ещё. Я же в Лите учусь, мне надо тем более. И почему так, что там горшок, и тут горшок тоже. Или мыло. Какое хорошее было мыло. Горшок, мыло. Просто горшок. Вот горшок. Что-то должно, ну пожалуйста, горшок, ну может, взять правда дядину про горшок? Но я хочу своё про горшок. Да и как к дядиному подступиться, он просто это рассказал, как историю, как история интересно, но тут не выстроишь. Буду строителем. Буду строителем, буду класть кирпич, буду строить дома. Или буду садовником и буду растения растить. Тем более это тоже творчество, хитрое. А если я сейчас украду этот горшок и убегу. Вот просто схвачу его и просто вот оденусь ничего не скажу, уйду, уеду? И с горшком. Или на дядину машину горшок сбросить? Вот же работает у меня фантазия, так, вот можно сейчас не делать ничего, можно, чтобы не плевали, это можно. И после этого можно и текст, вот и конец. Да конец там и так был, там начала не было. Да чего я жалуюсь, я же должен уметь, там придумал, там взял, там подвёл, там туда, всё по-правдивому получилось по итогу. Ну вот, я и не умею, значит. Ну вот, и всё и просто. Да ведь это не страшно, потому что есть другое. Другое мне надо. А это не надо мне. Нужно принимать уметь. Что вот если чего-то не можешь, то значит не можешь, значит, что нет у тебя способности. Я же не могу быть теннисным чуваком, например. Ну вот и писателем тоже. Это нормально. Со своей неспособностью нужно соглашаться. Мальчик – согласился. Да, он согласился. Да, мальчик согласился. Он согласился с неспособностью. Я его расшифровал, я получил. Вот, это он, это он большой. Это вот из него всё тут растёт. Это вот весь Дмитров про это, это, это мне весь Дмитров говорит, что неспособность, что согласиться надо. Не зря учился, всё расшифровал, всё сложилось вместе. Я сюда приехал, и мне говорят – зря приехал. То есть не зря, но приехал, чтобы узнать, что зря приехал.»

– Я не способен, – сказал Катасов вслух, шёпотом, – это хорошо. Ничего плохого нет. Я не способен, и главное, что я честно знаю и не притворяюсь. Я честно не способен. Главное же честным быть? Да. Я принимаю это. Я всё равно хороший, даже когда неспособен. И я не буду дальше пытаться, всё. Я это понял. Мне это сказали. Я считал.

«Надо написать про это. Это если всё это вместе так складывается, что одно, другое, и вывод. Можно всё подряд так и рассказать. И в конце – я не способен. И в начале – я не способен, и везде, я никогда не способен, и я не способен. И это не стыдно. И вот это написать, описать, хоть как, ну не хоть как, я постараюсь, и всё. И даже понравится всем, но я покажу, что видите, что тут в конце, тут в конце вы что, не поняли, вы, пожалуйста, прочитайте тогда ещё раз, тут в конце, что это всё, что я не способен. Последняя моя мысль, вот такая моя мысль, дядя, Баранский, мальчик, вот читайте мою мысль, да, такая мысль, и все по ней живите, потому что она самая правильная, я тут без иронии, мысль: принимайте свою неспособность. Но пока я ещё писатель, вот это я напишу, что я не писатель. И это последнее будет. А потом я пойду куда-то, куда-то в другое дело. Всё, так сразу и начну, что приехал в Дмитров, ну вот всё по порядку, даже, даже с мыла начну. Вообще

довольно много получится, повесть получится. Вот дядя Тубанов сказал – дно отчаяния. И что выбираешься со дна отчаяния. А я не буду ниоткуда выбираться. Я тут буду сидеть. Буду сидеть на дне отчаяния. И тут мне и место. И ничего плохого».

Дальше ещё у Катасова были мысли, но в основном всё крутил по кругу, поэтому хватит, довольно провёл времени без присмотра. Уснул поздно, снилось непонятно что, точнее будет, даже ничего, никакую отгадку во сне ему не повезло увидеть. Поутру разбудили, накормили и отправили.

– Привет. А ты где был? – спросил у Катасова сосед Коля, когда тот вошёл в комнату.

– Я? Ну смотри. Ты помнишь про мыло?

– Помню.

– В общем, какая там была ситуация на самом деле с мылом. Оно растаяло. То есть оно превратилось во много маленьких кусочков. Ну то есть не просто мыло, как вот куском, а такая мыльная жидкость, и там вот кусочки плавают. Ты понимаешь, о чём я?

– Ну да, понимаю. Такое вообще часто бывает.

– В смысле?

– Ну да. Постоянно. Постоянно мыло размокает и плавает, если там мокро.

– Какое постоянно? Я никогда не видел. Мне кажется, ты что-то путаешь, не может такое быть постоянно. Это только один раз такое.

– Да нет, постоянно. Это ты уже что-то сам себе нафантазировал.

Катасов прошёл в комнату, сел на кровать, и сказал: «Понятно». А про себя подумал: «Нет. Это только один раз».

Валерий ЗЕМСКИХ

Когда мы в пятый раз прошли мимо трибун
Закралось подозрение что где-то свернули не туда
И оказались на дороге
Что тянется кольцом вдоль крепостной стены
И ни ворот ни переулков
Не ускользнуть
Не выйти из толпы

Когда нам будет ничего
Тогда нам будет ничего
Когда тогда
Быть может сразу
Нам ничего не будет
Но всё же рано или поздно
Скорее поздно а не рано
Для нас настанет ничего
Быть может и не всем
Но всё же
Кому-то будет ничего
А если будет ничего
То нам ведь ничего и надо
Осталось выяснить когда же
Когда нам будет ничего

Когда тебя будут судить
Тебя будут судить
Не те так другие
Не он
Так ты сам

Валерий Земских родился в 1947 году в Волхове. Окончил физический факультет ЛГУ. Печатался в журналах, сборниках и антологиях, автор многих книг стихов. Редактор-составитель пятитомной антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений». Лауреат премии им. Н. Заболоцкого. Стихи переводились на основные европейские языки. Живет в Санкт-Петербурге.

Легко смахнуть
Чтобы не слышать по ночам собачий лай машин
Плотнее закрывали окна
Кричали мы не мы
Шептали мы не мы
Да мы не мы
Нас нет

Когда на краю
увидишь что края
нет
И куда идти
Ты стремился к нему
чтобы заглянуть
Молчи
Кричи
Верти головой
Всё одно

Дно уходит из-под ног
Но ты
всё ещё здесь
На краю
которого нет
Смотришь туда
куда не заглянуть

Когда-нибудь внезапно наступило
Когда-то думалось
всё впереди
Но нет
сейчас
И как всегда был не готов
Всегда
это вчера или сегодня
Про завтра умолчу
Поскольку завтра нет

Когда выходишь не на той остановке
Неважно откуда выходишь
И существует ли та остановка
Главное вышел
Вышел не там
И теперь это твоя остановка
С этим живи
Там где ждали больше не ждут
Там без тебя всё по-другому
Бог бросил кости и выпало выйти не там
Прости его он не хотел
Так случилось

Когда мир превратится в пыль
Покажут фильм про райский сад
Кинемеханик скажет
 Что ленту привезли вчера
 Под вечер
Мы не поверим

Слепой старик нас будет убеждать
 Что так и есть
 Всё завозное
 А здесь всегда лежала пыль
Мы не дослушав
Отправимся искать следы грузовика

Когда найдёшь себя
Не верь что это ты
Пустая оболочка
В ней мало что осталось от тебя
Брось на обочину
Пусть муравьи утащат её к себе
И сделай вид что это
Не про тебя
Тем более что так и есть

Когда так будет
Да всегда
Ну только по субботам чуть иначе
Но всем суббот не хватит
Давайте не выдумывать особость
Особы все
И даже те что по субботам
Пытаются найти различие
Его
Нет и не будет
А если и останется чуть-чуть
Им лучше пренебречь
Всё только так
А не иначе
Хотя коль сильно хочется
Но нет

Когда ты дал свободу
Никто не знал что делать
Потом все врассыпную
Пустились во все тяжкие
Но это было больно
Сбивались в кучи чтобы выжить
Просили вернуть былое
Ты бы и рад
Увы не в силах
Все стали проклинать тебя
Потом забыли
Теперь и ты свободен

Когда нас будут поминать
О нас не будут вспоминать
Чёрт будет тренькать на гитаре
По барабану бить копытом
Смахнув слезу
Гнусаво петь
Расскажет старый анекдот
Потом возьмутся за стаканы
И нас забудут навсегда

Мила БОРН

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

*Я взглянул, и вот конь белый,
и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец...*
Откр. 6:1-2

Она брела в тяжелом, густом тумане, раздвигая большими сапогами, не по ноге ей, мокрую, прилипающую к резине траву. Звала его. Все больше по имени. Но иногда голос ее западал от всхлипываний, и она переходила на совсем простое:

– Сынок, сынок!

А туман обволакивал ее так плотно, что казалось, будто бы она погружается в какую-то мутную озерную воду, и голос в этой воде становится неузнаваемым и глухим. Поэтому никто и не откликается на зов, – думалось ей. Где-то совсем близко от нее кто-то невидимый тоже раздвигал травы и шел как будто навстречу ей. Она замирала в надежде. Даже переставала дышать. И вдруг из тумана, мотая крепкой головой и раздувая большие ноздри, выходил неторопливо конь. Без седла и без всадника. Был он всегда белоснежно-белый, с серебряной тонкой нитью в спутанной дикой гриве. Не опасаясь, конь подходил близко-близко, тыкался розовой мокрой мордой в ее ладонь. Как будто просил хлеба. Но у нее не было ничего. Она гладила его скуластую теплую морду и говорила одно и то же:

– Я потеряла сына. Ты не видел его?

Конь тревожно прислушивался к голосу. Смотрел удивленным, навывкате, синим глазом и, не понимая человеческой речи, растворялся в тумане так же обыкновенно, как и пришел. А она оставалась. Шла дальше по мокрому луговому бездорожью и видела, как в сером тумане, на земле, повсюду лежали разметавшиеся люди – то ли спящие, то ли захмелевшие, то ли какие еще. Она не успевала понять, потому что к тому моменту уже просыпалась.

Серафима разлепила сухие, тяжелые веки и уставилась в темное окно. За хлипкой и узкой рамой медленно разливалась тонкая синяя полоса. Пора было вставать. Она от-

Мила Борн родилась в 1972 году в Волгограде. Окончила Литературный институт им. Горького и сценарный факультет ВГИКа. Публиковалась в российских и зарубежных изданиях: «Артикуляция», «Фабрика литературы», «Вторник», «Литоскоп», «Литература», «Берлин. Берега», «Зинзивер», «Новая Юность» и др. Автор книги рассказов «Голодный остров» (М.: Стеклограф, 2020). В «Волге» публиковались рассказы (2021, 2023).

кинула ватное одеяло и опустила ноги на заледеневший за ночь пол. Оперлась рукой о грядущку. Тяжело поднялась. На ощупь пошла по спящему дому. Возле угла наклонилась, поплескала ладонями на лицо из цинкового ведра. Глубоко вздохнула. Сонная слабость начинала отпускать ее. Включила электрочайник. Выставила на стол посуду. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить соседей, Серафима отрезала край от хлеба, отделила половину от рыхлого творога, откинутого еще вчера. Подоспел чайник. Серафима бросила чайную щепотку в черное от каждодневных завариваний горло кружки и залила шипящей водой. Села подождать. Синее за окном светлело и ширилось. Она торопливо позавтракала. Потеплее оделась – в вязаную кофту и куртку. Взяла с собой шапку. Обулась в сапоги. Завернула и хлеб, и творог в вошеную бумагу, положила в холщевую сумку вместе с ключом, паспортом и стареньким мобильным. Посидела, как принято, на дорожку и вышла, прикрыв за собой тяжелую дверь.

На станцию отправилась через поле. Потом пошла вдоль линии электрических фонарей по деревенской дороге, выложенной бетонными плитами. Там еще спали. И лишь во дворе одного из домов чуть заметно теплился слабый желтый огонек. Было слышно, как маялась родами корова. Человеческий голос, хлопотавший около, ее утешал. Серафима остановилась, прислушалась. Голос был тревожным и заспанным. Человек, невидимый в сумерках, охаживал метущегося зверя, как доктор умаявшегося больного, перебивая своими заговорами боль. В воздухе пахло чем-то острым. Серафима запустила озябшую руку в холщевую самопальную сумку, перекинутую через плечо, выудила оттуда мобильный, засветила неонам в темноте, проверила время. До электрички оставался еще час. Она прибавила шаг. Обогнула по западу дубовую рощу. Свернула на вытопанную тропинку вдоль задников новых кирпичных дач. И, совсем уже сбившись с дыхания, вышла наконец к асфальтированному кругу маршрутных автобусов, а там, перебравшись через железный мост, и на станцию.

В помещении с кассами было и сонно, и тепло, хотя пахло чем-то затхлым и неживым. Серафима купила билет и села ждать электричку. Каменный пол на станции был неровно влажным, напоминавшим акварельный рисунок вьюги. Слышалось, как невидимая полойка елозит своей шваброй по залу и гремит железным ведром, заставляя тревожно спящую под лавкой дворнягу поднимать и поднимать голову. А пока Серафима ждала, мимо станции промчался товарняк, за ним скорый. И тогда она представила, как хорошо там, наверное, в натопленных, мягких плацкартах и купе, как покачиваются в своем сонном обмороке, словно в колыбелях, пассажиры дальнего пути, нагруженные разнообразной кладью, застрявшие между свободой странника и цепной привязанностью к дому, в который, как ни обманывайся, возвращаешься всегда, потому что если не домой, то куда человеку еще возвращаться. И если бы у скорого было право остановиться на этом никому не известном полустанке с выцветшим от дачного лета, ситцевым каким-то названием, то наверняка среди спящих пассажиров мог бы оказаться и он, ее сын. Но она знала, что его там нет. И быть не могло, потому что скорый всегда проносился мимо этого полустанка и шел дальше, до самой Москвы, а уже там, на своей то ли конечной, то ли исходной, всех выгружал, чтобы забрать новых. И так бесконечно.

До электрички оставалось всего пятнадцать минут. Серафима заторопилась. Оперлась на затекшие от долгой дороги ноги, поднялась и пошла на пустующую платформу.

С оглушительным визгом электричка врезалась в тишину станции, остановилась и впустила в свое нутро, шибящее запахом креозота и греющего котла. Серафима угнездилась в вагоне, где несколько станций подряд находилась совсем одна. По субботам никто не ездил в такую рань. Она смотрела через потеющее оконное стекло на убегающие обратно к станции елки, хлипкие крыши сараев и беременные поля, со всех сторон заботливо подоткнутые тяжелым одеялом тумана – седого, непроницаемого, за которым, быть может, и бродит он, тот белый конь из снов Серафимы, среди высокой и мокрой травы, принохивается к лежащим там то ли спящим, то ли убитым, но на самом деле ищет, чтобы уткнуться в теплую живую ладонь. Он-то знает, знает, куда исчез ее сын. Иначе не приходило бы к ней в мучительных снах, не тревожил бы ее горькое прошлое.

За полчаса до Москвы в вагон, где сидела Серафима, стали мало-помалу набиваться люди. Ранние пассажиры, шумливые, пестрые, спешащие на работу в столицу, и дачники, сбежавшие от сырых ночей обострившейся холодом осени, и частники с большими эмалированными ведрами, замотанными поверху холщевыми полотенцами – так, что через них проступала густая кровь последних, поздних плодов на продажу. Люди толкали друг друга, гомонили, передавая с рук на руки детей, сумки, вещи. И когда вагон наконец выплюнул всех до одного в тупике Павелецкого, Серафима, которая выбралась самой последней, с облегчением выдохнула. Осмотрелась

За последний месяц тут ничего не изменилось. Разве что верхушки тополей немного пожухли, а из тех, кто к зиме не улетел, остались разве что ленивые голуби и суетливо снующие воробьи. У входа в вокзал толстая и румяная баба, как всегда, продавала сосиски, запеченные в сдобном тесте. Около эскалатора дремали бомжи. Продавец свежих газет спешно завтракал, откусывая от самодельного домашнего бутерброда и запивая дымящимся кофе из пластикового стаканчика. Серафима остановилась перевести дух. Суета городской жизни, от которой она давно отвыкла, кружила ее и наполняла голову каким-то неприятным, навязчивым звоном. Она села передохнуть в замызганном при- вокзальном кафе. Попросила чаю. Из холщовой сумки достала творог и хлеб. Неторопливо поела и запила несладким, бледно заваренным чаем. Потом с наслаждением вытянула под столом уставшие и замерзшие ноги. Посидела еще немного, слушая, как раскатистый, но еще сонный голос диспетчера разливается по всему вокзалу, раскачивая человеческую толпу, безостановочно убывающую и прибывающую в город.

Наконец она поднялась. Сходила в привокзальный туалет, тщательно вымыла руки. И потом тихим ходом пошла по эскалатору вниз. Спустилась в метро. Одолела две пересадки, которые помнила хорошо и совсем не боялась заблудиться в переходах большого города. На нужной станции выбралась из-под земли и, привыкая к уже разошедшемуся утреннему свету, медленно побрела вглубь тихого спального района с однообразными панельными многоэтажками.

Этой дорогой она ходила много раз. Так много, что и с закрытыми глазами ни за что бы не заблудилась. Только теперь, когда время поменяло всему места, Серафиме стало казаться, что здесь ее никто больше не узнает. Или, может, люди, городские, без крепкого гнезда, привыкшие метаться с места на место, успели так изменить окружающее пространство, что она, выпавшая из него, сама больше не узнавала никого и ничего.

Серафима дернула на себя дверь подъезда, шагнула в его загхлый, вонючий полумрак. Заглянула в почтовый ящик – пусто. Вызвала лифт, который, скрипя и покачиваясь, до-

тянул ее до последнего этажа. Вышла. Достала из холщовой сумки ключ. Приглядываясь к темноте, нащупала замочную скважину и повертела в ней. Дверь, заскрипев старым, потрескавшимся дерматином, поддалась, оторвавшись от дверного проема. Изнутри на Серафиму дохнуло полузабытым теплом.

Она вошла. Постояла немного в прихожей, будто бы не решаясь шагнуть дальше, в комнату. Или, может, прислушивалась, не вернулся ли кто до нее. Нет, не вернулся. Аккуратно разулась, поставив сапоги возле самого входа. Вошла в комнату и устало опустилась на диван. Осмотрелась. Все было здесь унылым, расхристанным. Мятое, давно не стиранное постельное белье лежало разметанным по дивану. На спинке стула висела застиранная мужская рубашка, один рукав у которой застрял вывернутым наполовину, словно к приходу Серафимы не успел завершить положенный всем вещам порядок. На полу в опасном нагромождении толпилась невымытая посуда. Телевизор, выдвинутый зачем-то на середину комнаты, громоздился своим прямоугольным фанерным туловищем на четырех тонких ножках, растопыренных в разные стороны, словно из последних сил выносивших тяжесть допотопного электроприбора. Его внутренности были вынуты и разбросаны по полу. Выцветшая штора, цеплявшаяся за карниз последней прищепкой, довершала вид уныния и тоски. Часы на стене не тикали. В глубине комнаты прятал угол старый, доставшийся по наследству трельяж с потемневшими, бледными зеркалами, под зажим которых была воткнута цветная, с меленьким рубчиком по краю, фотография улыбающегося молодого человека в бронежилете, высоких берцах и камуфляжной фуражке с козырьком. На столе в беспорядке валялась бумага. Серафима подошла к столу. Наклонилась. На одном листе прочитала: «Дорогой сын! Я давно хотел тебе написать...». Густо зачеркнуто. На другом: «Сынок, я не верю, что без вести...». И опять все перечеркнуто. Рядом – кипа скомканных листов. Развернула. Прочитала еще: «Я писал самому...», «Ты обещал, что вернешься...». Наполовину початая бутылка. Рядом – целый редут опустошенных. Пепельница – давно через край. Она вздохнула. За стеной соседи включили музыку. Чьи-то детские пятки пронеслись через всю комнату. Кто-то захохотал. Серафима подошла к окну. Остановилась. Заметила, что на подоконнике, безнадежно обвиснув по стенкам глиняного горшка, засох ее долгожитель-декабрист. Она потрогала его обмякшие, сморщенные листочки и с горечью выдохнула: не нужен больше никому. Посмотрела вниз, во двор – на растянутые через баскетбольное поле веревки с высушающими пододеяльниками, на человека, выгуливающего боксера. На детскую площадку с копающимися в песочнице детьми. Неторопливо разделась и принялась за работу. Вымыла окно. Перевесила занавеску. Постирала белье и поставила вариться мясо на суп. Со стола убрала и исписанную бумагу, и бутылки. В целлофановых мешках вынесла все к мусоропроводу. Тщательно вымыла полы.

К вечеру комната задыхалась уютом и теплом. Серафима села передохнуть и вытянула отекающие, налитые металлом ноги. Осмотрелась. Усердно вытерла рукавом раскрасневшееся, потное лицо. И не заметила, как, привалившись к спинке дивана, тут же поплыла в какой-то мутный, усталый сон, в котором было все, как и прежде: и жаркое лето, и поблескивающий на солнце размягченный асфальт, и пухлые детские ножки в сандаликах, шагающие неровно, неуверенно по дороге. Серафима протягивала руки вперед и радостно говорила:

– Сынок, сынок!

Но кому именно она это говорила, Серафима не могла разобрать, потому что уже не помнила во сне, был ли у нее сын вообще. Пыталась припомнить. Но не могла. А когда наконец коснулась руками, то почувствовала не детские пухлые ножки, не ребенка, а что-то огромное и жесткое. Присмотревшись, увидела скуластую голову и шершавые, розовые ноздри большого зверя, который почему-то растягивал губы и, обнажая крепкие желтые зубы, заходился в громком и неприятном ржанье. Она испуганно вскрикнула. И от этого крика проснулась. Разлепила глаза. Рядом с ней сидел старик, выцветший и иссохший. Он рассматривал спящую Серафиму. А теперь, когда она внезапно проснулась, отвел глаза.

Она уже не помнила, как случилось, что этот старик так стремительно поблек, так незаметно растерял все то, что она в нем когда-то любила. Наверняка он и сам не помнил, растворившись в чередě одинаковых дней своего ожидания. И когда никто уже ничего не ждал, он продолжал яро упрямяться, ждал звонков, каждый день ходил в пункт отправления и прибытия. И в этом своем изнеможенном сопротивлении, своей бессмысленной силе он кромсал и ранил все, что жило еще вокруг, что было еще неубитым. И ничего нельзя было с этим поделать. Совсем больше ничего.

Она покормила его горячим супом. Дождалась, пока он доест. Вымыла всю посуду. Вытерла со стола. Потом они молча сидели на кухне. Друг против друга. Смотрели, как за окном заваривались густые сумерки. День таял. Голоса, переключившиеся на детской площадке, утихли. Соседи за стеной смотрели телевизор, беспорядочно переключая каналы. Кто-то пустил воду в ванной. Кто-то звякал посудой и сердито кого-то звал. Серафима поднялась и пошла одеваться. Вязаная кофта, куртка. Шапку достала с верхней полки в прихожей – не забыть. Обулась в сапоги. Перекинула через плечо холщевую сумку. Осмотрелась еще раз. Остановила взгляд на старике. Но недолгий. Молча вышла и заперла дверь квартиры своим ключом.

На Павелецкий она добралась позже нужного. Опоздала на электричку. Поэтому следующую пришлось дожидаться еще час. Убивая время, она купила себе в привокзальном киоске засохший сочник и банку холодной фанты. Неторопливо перекусила и пошла на платформу. В вагоне опять оказалась одна. На последней по расписанию не ехал уже никто. Где-то на Сортировочной к ней подседа подвыпившая компания – совсем молодые, красивые. По очереди они опрокидывали в себя бутылку с каким-то вином и хохотали то ли друг над другом, то ли над чем еще. Через две станции они вышли, и Серафима облегченно закрыла глаза. За окном было сумеречно. Она смотрела в слепое окно так, как будто впервые увидела свое отражение и теперь с удивлением рассматривала.

Электричка выпустила Серафиму на нужной станции. Она пошла привычной дорогой – мимо почти всегда темных окон новых кирпичных дач, обогнула край дубовой рощи, выбралась на бетонку с линией электрических фонарей. И, уже миновав последний деревянный дом, вдруг вспомнила о корове, которая утром мычала и маялась. Но теперь, должно быть, уже родила, накормила и вылизала своего теленка, на шатких ножках, ребенка. Серафима остановилась. Прислушалась. Было тихо. Она представила, как корова и ее сын уже спят в своем добротном хлеву, отдыхая от трудного дня, как вздыхают в своих медленных, легких снах. И хозяин спит. И семья его тоже. Серафима беспомощно обернулась. Было уже совсем темно. Посетовала на себя: надо было из Москвы возвращаться пораньше. Студеный вечерний воздух начинал уже забираться под одежду, морозить и руки, и лицо. Измученные, больные ноги нестерпимо гудели. Она добрела до конца бетонки и

вышла в поле, над которым стелился сырой и плотный туман. Оставалось пересечь это поле и – до дома рукой подать. Серафима шагнула вперед и провалилась в слепую, молочную густоту тумана.

И тут ей вдруг показалось, что в такой густоте она потеряется. Позабудет, словно по чьей-то злой ворожке, куда ей идти. Сырая, колючая морось лезла в уши и нос. Дышать стало тяжелее. Серафима остановилась и стала озираться. Туман обнимал со всех сторон. Она вытащила из сумки мобильный, хотела им посветить. Но батарейка уже села. Подумала: сделай она еще хоть один неверный шаг, и уйдет совсем в другую сторону. А выберется ли вообще из этого тумана? А может, и не туман это вовсе, а какое-то другое, неизвестное ей пространство, и она забрела в него по ошибке? Серафима опасливо потопталась на месте. Понимание того, что сбилась с дороги, нарастало. Куда идти? Туда? Или туда? А может, вообще в обратную сторону? Но даже если она, не сворачивая, двинется в каком-то выбранном направлении, придет ли она туда, где ее ждали? А если нет? Если останется здесь навсегда? Если замерзнет, сгинет?

Обмякнув, Серафима присела на корточки, а потом и вовсе подкосилась на ватных, пылающих ногах и повалилась на стылую, перепаханную под озимые землю. И так ей в этой слепоте, этом безвременье стало больно, так стало себя жаль, что Серафима вдохнула, сколько смогла, сырого, студеного тумана и заревела, заголосила посреди пустынного поля, как деревенская утренняя корова, зашла в своем вырвавшемся наружу горе – по-звериному низко, гортанно.

Очнулась только тогда, когда, задеревенев от вечернего заморозка, вдруг почувствовала в своей слабой, отброшенной в приступе руке что-то шершавое. Она открыла глаза. Прямо из тумана над ней нависала огромная гривастая голова коня. По раскрытой ладони Серафимы елозил трепетный, теплый язык. Большие, глубокие ноздри зверя потянулись к заплаканному лицу Серафимы, и он начал жадно слизывать соль. Закончив свою работу, конь поднялся над Серафимой и замер. Она протянула к нему руку. Погладила. Тихо спросила:

– Почему ты один? Ты тоже кого-то потерял?

Конь нетерпеливо замотал головой и попятился. Серафима поднялась кое-как на ноги и заторопилась за ним, увязая на сырой, рыхлой пашне. Но конь уходил от нее все дальше и дальше, пока не исчез совсем.

Из тумана она выбралась уже одна. Неожиданно, как и вошла в него. Огляделась. Знакомая дорога была совсем рядом. Получалось, что от правильного пути она отклонилась совсем немного – шагов на десять. Значит, белый конь вывел ее куда нужно.

Вконец околоченная, она добралась домой к ночи. В соседских окнах давно уже не горели огни. Только в одном еще теплился тусклый медовый свет. Ее ждали. Серафима протянула руку и легонько, но настойчиво стукнула по стеклу, за которым горбатая желтая старуха, оторвавшись от чтения, вопросительно уставилась в черный квадрат окна. Догадавшись, что с другой стороны – Серафима, что она наконец пришла, старуха кивнула одобрительно головой, утянутой под подбородком черным платком, и, успокоившись, вернулась к чтению.

Серафима поднялась к себе. В комнате хотела еще стянуть с себя куртку, но руки настолько одеревенели от холода, что она как была, так и повалилась, не разбирая постели,

вытянула больные ноги. На лице ее жило еще воспоминание о теплом зверином языке. Она улыбнулась в темноте и накрыла глаза ладонью.

Ее повело, закрутило дремой. И там, в глубине сна, было опять и лето, и зной, и шагающие по размягченному асфальту пухлые детские ножки в сандаликах. А потом такие же сандалики она увидела почему-то в густой луговой траве на разметавшихся тут и там в бледном, густом тумане людях – то ли спящих, то ли захмелевших, то ли каких еще. Она так и не успела это понять, потому что к тому моменту проснулась.

Услышала, как гулко ударил колокол. Проглотила тяжелый, горький комок, образовавшийся у нее в горле, пока во сне она кого-то звала, а этот кто-то не отозвался. Серафима откинула ватное одеяло и опустила ноги, пульсирующие от боли, на стылый пол. Оперлась рукой о грядущку. Тяжело поднялась. На ощупь пошла по спящему дому. Возле угла наклонилась, поплескала ладонями на лицо из цинкового ведра. Глубоко вздохнула. Колокол ударил снова. На этот раз настойчивей и призывней. Серафима торопливо оделась, повязала на голову платок и вышла из комнаты.

На воздухе, сыром и колючем от утренней свежести и тающего тумана в полях, стало полегче. Она оглядела двор. Все тут было простым и понятным. Сестры уже потянулись к воскресной заутрене.

июнь, 2024

Михаил ШЕЛКОВИЧ

ШОСТАКОВИЧ. ТРИПТИХ

<памяти автора этого квартета>

*вложенный автором в уста тов. Единицына
глубокий анализ современного положения в музыке
вызывает восторг собравшихся
которые приветствуют И.С. Единицына бурными
долго не смолкающими аплодисментами*

вечный попутчик с лицом маленького Иисуса
брошенного мценской Марией на произвол
Иосифа Единицына грубого плотника
любящего приговаривать
лес рубят – щепки летят

по сравнению с ним – рябым мнительным божеством
кольчез червяк – пятая колонна филогенетической сталинки
что поддерживает серый дом только с виду
он вдавлен в чуткую родину четырьмя остальными
единобесправием ядержавием инородностью
четвертому не бывать

*был вознагражден за свои страдания
со смокингом футбольным матчем
между Веной и Турцией
когда австрийцы забили гол на стадионе
воцарилась абсолютная тишина
а закончился матч ужасной дракой
в целом все это было забавно*

судья поколения в роговой мантии не по росту
он прячется на футбольном поле – не заблудиться бы в трех колосках
он притворяется для подозрительных зрителей

Михаил Шелкович родился в 1984 году в Петербурге. Выпускник филологического факультета СПбГУ (кафедра классической филологии). Публиковался на сайте «Полутона». Живет в Париже.

что правила не ацтекские а отцовские – отца всех народов
и своя голова у всех на своих плечах
а не катится в багровой траве стадиона
он держит в кармане желтые и красные карточки
но показывает эзопасный язык

пьяные слезы сползают с партитуры лица
на партийный билет

*выполнял две обязанности
композитора и пожарника
дежурил на крыше консерватории
и таскал туда партитуру
не мог оторваться
вернулся из поездки в Дрезден
там хорошо устроили
для создания творческой обстановки
а вместо этого написал
никому не нужный
идейно порочный квартет
кто напишет произведение
памяти автора
поэтому сам решил написать
можно так и написать
посвящается памяти автора этого квартета
основная тема квартета – ноты D.S.C.H
в квартете использованы
темы сочинений автора Вагнер Чайковский
псевдотрагедийность некоторое самовосхищение
похмелье критического отношения
к самому себе*

в каске пожарного как мальчишка очкарик
он смотрит с воздушной тревогой
в голубые глаза военнопленной мадонны
между серыми лицами искусствоведов в шинелях
чеканящих шаг по развалинам Дрездена
между лазарево-лазурными лицами
в холщовом небе над головой с желтыми звездами
погасшими в пепельной печной темноте

красные пальцы лучи струны
реплетаются льются длинными волнами
в чёрную дыру фортепиано красные пальцы

рожденного под красной звездой
над башней из человеческой кости

для нечеловеческой музыки

Балаганчик

*его стерли как крошечную кляксу огромным ластиком
и Мейерхольд и Тухачевский играли на скрипке
каждый из них незадолго до своей трагической смерти
вспомнил об этом ремесле*

как ластиком кляксу – с листика в клетку
жирные пальцы стёрли с Пьеро
белила – под ними у человека
предсмертной гримасой лицо бело

в кумачном наряде в чёрную клетку
надменно губы сжал Арлекин
но жирные пальцы тонкую шейку
сдавили до хруста как щепку тиски

и вот кукловодом обрезаны нити
со сцены в яму валясь ничком
они предпочли бы лучам софитов
во мраке скрипку пилить смычком

13-я симфония «Бабий яр»

я сказал Сталину чистую правду: «Меня тошнит»

советский лимб: бетонный стадион
гибриды Лысенко колышутся как подсолнух
вслед проносящемуся над ними
кожаному мячу или казённой музе

пористая как губка
толпа надрывается в озверелом вопле
а мяч заштопанным ртом
мычит под ударами ног SOS
из штрафной зоны

между черными провалами ртов
бледный овал со сжатыми в нить губами
кричащими внутрь: меня тошнит

песочные часы стадиона перевернулись

время ринулось горлом: прах
забытых на дне иного
непостроенного стадиона

ярус за ярусом
бетон рассыпается в пыль
проваливается под ногами
как серая сухая земля
вслед тысячам тысяч тел
летающих на дно тряпичными куклами

в перевернутом мире
оркестр и хор поменялись местами
музыканты настраивают инструменты
откуда свинцовые ноты
вырываются исчезают
в грохоте скрежете визге

они кривляются и смеются: под ними
извиваясь как черви в выгребной яме
хористы ухают крикают задыхаются
хватают воздух овалами ртов
разрывают его агональными жестами

распеваются к реквиему

Из цикла «Круглый год»

Ему было о чем сожалеть, вы уж поверьте, казалось, он может бесконечно и безостановочно, вновь и вновь переживать свои ошибки, заблуждения и разочарования. Но он почему-то сожалел только об одном: о том, что каждый раз декабрь проходит для него стремительно, пролетая без всякого следа. На самом деле это было не совсем так: иногда в декабре он прочитывал несколько страниц прозы Андрея Платонова или вдруг заводил беспорядочные близкие отношения с одной, а то и двумя женщинами. Но он почему-то прицепился к этой идее и уже с конца октября принимался сокрушаться о том, что и этот, грядущий декабрь промчится как один день и он в очередной раз не сделает ничего, даже не полюбуется свежим, густым и чистым снегом, даже не посидит у окна, встречая невозможные ранние сумерки. Как будто в другие месяцы он что-то делал!

А в ноябре он ходил в Сосновый бор и там у второго мостика кричал, шипел и рычал на белок. Белки же не обращали на него никакого внимания, скакали по веткам и растекались по деревьям. Такое равнодушие его очень огорчало.

15 ноября 2017

И чем острее и яростнее он хотел, чтобы наступившее лето длилось долго, чуть ли не бесконечно, тем быстрее и стремительнее оно пролетало. И даже яркой вспышки никакой не было, все происходило незаметно, и в конце концов он обнаруживал себя стоящим в парке Сосновый бор, на поляне, засыпанной желтыми листьями, и заворуженно наблюдающим, как черный дятел в элегантном красном берете разбивает на мелкие щепки вековые деревья.

– Это как с женщиной, – подумал он, – о которой мечтаешь десятилетиями, постоянно видишь ее во сне, непрерывно представляешь – как прекрасно было бы с ней... А когда все-таки что-то с ней и получается, вернее, ничего не получается и ты сидишь, рассеянно поглаживая ее живот, и пытаешься понять – что же только что произошло в этой комнате с зашторенными окнами...

Сергей Тиханов родился в 1964 году в Новосибирске. Окончил филологический факультет Новосибирского педагогического института. Публиковался в журналах и альманахах «Дирижабль», «Стрелец», «Уральская новь», «Крещатик», «Черновик», «Футурум АРТ», в антологиях «Очень короткие тексты» (НЛО, 2000) и «Нестолничная литература» (НЛО, 2001). В 2020 году вышла книга «Страшные сказки».

– Так и лето, – заключил он и вышел на Ядринцевскую, где пошел уже совсем сильный и холодный дождь.

24 мая 2018

Ноябрь... ноябрь, разогнавшийся в первые дни и летевший неудержимо и стремительно, к середине своей вдруг резко затормозил и словно бы даже остановился. И это ему нравилось: длинные рассветы, бесконечные снегопады и сильный ветер по ночам. Он словно получил внезапно передышку, паузу, во время которой необходимо было на что-то, наконец, решиться. Но решиться, в особенности на что-нибудь, он уже не мог. А пауза, и так уже непозволительно долго тянувшаяся, могла оборваться в любую секунду. И тогда уж перелистнутся последние страницы книги отчаяния, одиночества и пустоты, и прозвучит тогда последняя часть симфонии ужаса и мрака, самая настоящая рондо-соната.

24 ноября 2018

Из цикла «Любить Пересмешницу»

Ровно девять лет назад я привел тебя в галерею Спартака Обмишурина. Правда ты, в силу непреодолимой привычки оставлять последнее слово за собой и из-за стремления всегда быть сверху (в моих фантазиях ты неизменно оказывалась сверху), можешь сказать, что и без меня давно знала Спартака Обмишурина, а в его галерее так просто выросла. Говори. Я-то знаю, что в тот солнечный и холодный октябрьский день своими руками отвел тебя в этот заколдованный замок, к огнедышащему дракону или могущественному волшебнику, из сетей которого ты никак не можешь выпутаться.

В этот день ты мне не дала. Не дала телефон Холмогоровой (мне вздумалось поздравить ее с нашим общим праздником – Днем учителя). – Зачем он тебе? – брезгливо восклицала ты, – кто ты такой? Опомнись! Кто ты и кто Холмогорова! С тех пор Холмогорова каждый раз, при встрече обнимая меня, не упускает случая подколоть: – А я ведь помню, как Пересмешница не дала тебе! Не дала тебе мой телефон! Но теперь-то он у тебя есть!

Еще в этот день ты первый раз спросила меня о моем возрасте. Естественно, это прозвучало в твоём насмешливо-пересмешливом стиле, в ответ на показавшееся тебе нелепым предложение немедленно поехать ко мне, пользуясь тем, что родители на даче, и там уж не терять времени. С тех пор ты не раз интересовалась – сколько же мне все-таки лет, но я так и не сказал тебе. Пусть это останется моей маленькой тайной.

5 октября 2022

Из цикла «Страшные сказки»

Он проснулся от дикого крика своей прабабушки, Бабуся, как все ее называли. – Тр́ава! Ты тра́ва! Ты травишь меня! – вопила Бабуся и хлестала своей высохшей искореженной рукой по лицу бабушку, стоящую перед ней на коленях. Наконец, быстро выдохнувшись, Бабуся наносила последний удар – по элегантной шляпке с бантиком, и шляпка отлетала в сторону. И в этом месте ему всегда становилось совсем не смешно, а очень жалко плачущую бабушку. А до этого было так весело смотреть как бабушка и Бабуся замахиваются друг на друга, яростно выкрикивая не всегда понятные ему слова – Вокзальная! Блядский род! Но когда шляпка катилась по полу, а бедная бабушка беспомощно плакала, он понимал, что происходит что-то ужасно несправедливое. И такие сцены повторялись каждый раз, когда бабушка собиралась на... партийные собрания. Она была на пенсии, но числилась в партийной организации вокзала Новосибирск-Главный, где мирно проработала всю жизнь в бухгалтерии (вот, наверное, откуда всплывало слово «вокзальная»), а Бабуся никогда не упускала возможности превратить эти праздничные, с духами «Красная Москва» и купленной в Риге бордовой губной помадой, сборы в жестокие расправы...

С тех пор он особенно трепетно относился к женщинам в шляпках. Он вообще нежно и трепетно относился ко всем женщинам без разбора, каждой хотел подарить хоть немного тепла, но женщины в шляпках всегда были для него чем-то возвышенным и особенным. Например, однажды Ирка Дремлюга, специалист по старофранцузскому языку, с первой же минуты так пленила его своей изящной шляпкой с трогательным с-боку-бантиком, что он два месяца каждый день занимался с ней сексом, причем это происходило исключительно в светлое время суток и непременно под музыку барокко. Неудивительно, что после того как Ирка уехала с молодым французом-аспирантом в Нант, он долго не мог слушать Монтеверди и Фрескобальди и стал мечтать о том, что встретит женщину, с которой можно будет заниматься сексом ночью, под тяжелую музыку, под Deep Purple или даже Black Sabbath. И неожиданно он очень быстро нашел такую женщину, она работала в пекарне на Демьянке. Правда, шляпок она не носила, еще она ничего не слышала об интимных стрижках, наконец, ей было все равно – с музыкой или без... но это уже, как говорится, совсем другая история.

А мы вернемся к бабусиным рукам, изуродованным работой на каких-то неведомых и непонятных «тяжах». Эти руки он запомнил слишком хорошо. В большой комнате у него был детский столик, на котором обитало несколько игрушек – заяц Пик, мишка-медведь и обезьянка Танька Федосьева. Мама как-то рассказала ему, что по ночам игрушки разговаривают, обсуждая прожитый день и строя свои игрушечные планы на будущее. Ему безумно захотелось услышать эти разговоры, а если получится, то и самому с ними поговорить! Чтобы дверь в большую комнату не закрывалась, он привязал ее нитками к своей кровати и тут же заснул. Проснулся он от шума: Бабуся, чертыхаясь, разрывала нитки. Обычно ночью она ходила на горшок у своей кровати, но почему-то именно в эту ночь ей понадобилось выйти из комнаты, и она натолкнулась на нитки, которые в ярости изорвала. Больше подслушивать разговоры своих любимых друзей он не пытался и в дальнейшей жизни с собеседующими по ночам игрушками не сталкивался.

Еще уместно вспомнить такой случай: снова друзья, снова нитки и бабусины руки. За стенкой жила большая семья Веселаго. Старшего из их многочисленных детей, рыжего Вовку, представлявшего ему Трубадуром из «Бременских музыкантов», он побаивался, а

вот с младшими, Валеркой и Аленкой, ему было очень интересно. Валерка, знавший столько всего, провел между балконами «телеграф», сделанный из ниток и спичечного коробка. Однако воспользоваться этим телеграфом они не смогли. Бабуся объявила, что Веселаги будут отправлять по этому телеграфу мышей. И когда он сидел за столом у окна, сочиняя приключения зайца Пика и Таньки Федосьевой, нитки телеграфа страшно затряслись, он подумал, что Валерка и Аленка что-то передают ему в спичечном коробке, бросился к окну, но увидел исковерканные бабусины руки, безжалостно разрывающие нитки Валеркиного изобретения.

Последний случай самый печальный: как-то раз он распалился, и Бабуся, исчерпав свои угрозы, что отдаст его нищим или, того хуже, в детский дом, где дети дерутся за крошки хлеба, завопила «Хулик! Ты хулик! Ты хулиганишь!», схватила его своими страшными скрюченными руками и ударила головой о раковину. Два передних молочных зуба при этом сломались. Ему не раз потом при разных обстоятельствах выбивали зубы, и ему были знакомы ощущения, когда рот медленно наполняется соленой кровью, а язык нащупывает острые обломки. Но тот, первый, раз был самым обидным и просто чудовищным, до самого конца жизни он так и не смог понять – что же такого натворил неизбалованный и вовсе не хулиганистый шестилетний ребенок, что его нужно было бить головой о раковину. Как успокоила его медсестра в процедурном кабинете кожвендиспансера на Тимирязева: – А что вы хотите, в жизни все когда-то случается первый раз.

2021–2024

Из цикла «Менделеевский жилмассив»

Неизбежно он оказывался на улице Театральной. Что он там надеялся увидеть? Трехэтажный дом с заколоченной дверью парадного входа? Ничего нового. Что он там хотел почувствовать? Как холодеет сердце от ощущения, почему-то всегда именно на этом месте настигавшем его, множества семейных историй и сплетений человеческих судеб в девятиэтажках на другом берегу Ельцовки, к которой он как раз и подходил. Каждый раз он медлил с переходом на другой берег, он хотел оставить часть себя, дикую и грязную, на одном берегу, а на другой выйти уже чуточку другим, изменившимся. Но стоит ли говорить, что никогда этого не происходило и обычно он выходил на другой берег ни капельки не изменившимся и, вздохнув, проходил мочиться за гаражами на Олеко Дундича.

Кошку звали Грушей. Как и большинство кошек Менделеевского жилмассива, она, несмотря на свой солидный возраст, не умела говорить. Или тщательно это скрывала. Но если бы она могла разговаривать...

Вариации на тему Корелли

В тот вечер ему очень хотелось, чтобы Маленькая разбойница написала хотя бы одно слово сверх пожелания приятных сновидений. Ведь это был необычный вечер: ровно год назад на концерте во время исполнения Вариаций на тему Корелли он первый раз, надо признаться, очень несмело, взял ее за руку. Конечно, он не ждал, что она напишет что-то вроде «я ждала, когда вы наконец это сделаете» или «мне было приятно», нет. Но он так хотел, чтобы она написала хоть что-нибудь. И ведь она написала! Маленькая разбойница написала «Как мы сегодня бежали!» Действительно, в тот раз они бежали за троллейбусом просто восхитительно, особенно он, который обычно едва стоял в позе Ромберга, но тут лихо бежал, паразитально ловко миную все колдобины и торосы.

Из цикла «Жизнь в девятиэтажках»

Он вернулся в самом конце апреля, весь пропахший холодным ночным дождем. Сразу же сказал, что будет кричать в туалете громче, чем раньше. – Я напишу про тебя рассказ, – сказал я ему тогда, – который будет начинаться «он по утрам кричит в сортире». У Олеси начиналось «он по утрам поет в клозете», а у меня – «он по утрам кричит в сортире». Он посмотрел на меня внимательно и сказал: – Знаешь что? Пиши все что хочешь, преувеличивай, как ты любишь, придумывай то, чего никогда не было и чего никогда больше не будет, но только пиши! Ведь ты ничего не пишешь, да и не собираешься писать! И даже замечательные названия для своих ненаписанных повестей и романов не придумываешь. А какие раньше были названия: Прогулка с аппендицитом! Пепельная среда! Циркониевый браслет! А сейчас ты и этого... Тут он махнул рукой, закрылся в туалете и кричал там, как и обещал, громко и жутко.

Бумаго-Маральский обычно не оставался надолго в Городе Мокрого Асфальта: приезжал к обеду, к вечеру напивался до бесчувствия, каждый раз при этом разрывая в клочки очередную рукопись со стихами своего друга пиита Черепахи. А утром как ни в чем не бывало уезжал на первом автобусе в свою родную Криводановку.

Как-то я спросил его: – Маральский, почему ты никогда не задержишься, а почти сразу уезжаешь? – Знаешь, Сережка, – задумчиво ответил Бумаго-Маральский, – тяжело мне в этом вашем городе. Вот иду я мимо этих бесконечных девятиэтажек, и мне кажется, что в каждой квартире, за каждым окном люди непрерывно сношаются. Он с отвращением посмотрел на ничем не примечательную девятиэтажку, мимо которой мы как раз проходили, как бы и правда опасаясь в каждом окне увидеть сношающихся людей.

Тогда я не обратил на это внимание: мало ли какие изысканные и утонченные аддикции не преследовали тогда нас, одурманенных Кортасаром, Гурджиевым и Иеронимом Босхом. И вот теперь, сорок лет спустя, неожиданно вспомнил.

6 мая 2023 года

Часто наши попытки начать разговор о самом главном, о единственно необходимом не талкивались на стену глухого непонимания и заканчивались плачевно. Нет, не психушкой или транзиторными атаками, но все равно тонкие, долго не заживающие ранки оставались на сердце.

Как-то в середине лета назревала гроза, несколько дней стояла небывалая невыносимая духота. Игорь Евгеньевич тревожно шагал по квартире. Но не гроза беспокоила его, нет, все небесные явления были ему глубоко безразличны, ему нужно было совсем немного – кружка крепчайшего свежесваренного чая и книга. А ночь или день, жара или крещенские морозы, затмения и полнолуния – все это было ему, говоря проще, индифферентно. В этом мы изо всех сил пытались равняться на него, но ничего у нас не получалось, каждому из нас для полного удовольствия было необходимо что-то еще: пластинки с интернациональным джазом, кисет с анашой-сибиркой, женские трусики...

Итак, Игоря Евгеньевича беспокоила не погода, а что-то другое, и беспокоило очень, до такой степени, что он решил поделиться этим чем-то со своей супругой.

– Послушай, Янтарина Мельхиоровна, – начал он, – мне кажется, что три волхва...

Но Янтарина Мельхиоровна не стала долго его слушать, а жестко оборвала:

– Знаешь что, Игорь Евгеньевич? Мне кажется, для таких разговоров о литературе и искусстве тебе лучше призвать жену Мастера Ганса.

Игорь Евгеньевич покорно встал посередине комнаты, медленно воздел к потолку руки и горько воскликнул:

– Жена Мастера Ганса! Явьсь!

В ту же секунду сверкнула ослепительная молния, оглушительный гром прокатился над улицей Ленина, резкий порыв ветра распахнул окно на кухне, с грохотом упала с подоконника и покатила по полу трехлитровая банка с астральными гвоздиками. Вот и поговорили.

22 июля 2023 года

На вакансию вместо обычной педагогической практики я попал за компанию, исключительно благодаря необъяснимой симпатии главного методиста, знатока грузинского кинематографа и личного друга Фиделя Кастро Эльвиры Николаевны Горюхиной к Сторожу Сергееву. Вакансия – это вам не практика под жестким контролем, а настоящая работа в настоящей деревенской школе в течение одной четверти, за которую даже неплохо платили.

Первоначально планировалось, что мы поедем на вакансию вместе с Игорем Евгеньевичем, но Игорь Евгеньевич невольно похоронил эту блестящую идею. Однажды ночью, он как всегда сидел на кухне, попивая свой крепчайший чай и почитывая... ну, предположим, Мирчу Элиаде. Он так хотел уехать в деревню, искренне надеясь, что весь тугой клубок сложностей и противоречий, закручивавшийся вокруг него все туже, сам собой ослабнет. И, размышляя об этом, Игорь Евгеньевич невольно пропел строчку из любимого

тогда всеми нами «Аквариума»: – Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле... Лучше бы он этого не делал, лучше бы он удержался от пения под покровом ночи! Потому что в это время в кухню неслышно вошла его супруга Янтарина Мельхиоровна в ночной сорочке, решительно и непреклонно объявившая ему, что он напрасно радуется, что никуда он со своим Тихановым не поедет.

Так я оказался на вакансии в деревне, затерянной в болотах залесенной губернии, с Мастером Гансом. С Мастером Гансом мы, хотя и проводили вместе невероятно много времени, путешествовали и даже обменивались письмами, совсем не понимали друг друга. Понимание пришло слишком поздно, когда уже ничего нельзя было поправить.

На вакансии нужно было вести дневник. Я начал свои записи с эпитафия из Гоголя: «Итак, я в Испании. А.И. Поприщин» и продолжал: Итак, я в Камышинке и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Мастер Ганс (мы вели дневник вдвоем) не оценил моих аллюзий. Меня же привело в замешательство записанное им наблюдение: «Дети отдаются неожиданно, как женщина». Мне, конечно, стало интересно, кто из детей ему отдался. Тогда в деревнях невозможно было представить близких отношений со школьницей. С учителями – это пожалуйста, это сколько угодно, но вот со школьницами – этого нельзя было увидеть даже в самом страшном сне. Что интересно, в городе все было наоборот.

– Weg! – рассердился Мастер Ганс. – Что ты устраивать балаган? Никто никому не отдавать! Это ты только об этом и думать! – Зачем же тогда ты писать? – спросил я. Мастер Ганс не ответил, разделся и ушел голый купаться в снегу. Тогда он еще разговаривал с акцентом только со мной, это позже он заговорил с акцентом со всеми окружающими.

В последнюю ночь Мастер Ганс не спал, а тщательно вымарывал из дневника все свои записи. Скорее всего, там было что-то еще, не менее парадоксальное и интересное, но я запомнил только вот эту мысль.

Конечно же, я сразу понял, что имел в виду Мастер Ганс, говоря про детей, а свое непонимание я разыграл. Но вот что касается женщин, я не обратил внимания насколько это точно и правильно, хотя со мной именно так всегда и происходило – желанно и неожиданно. То, что я не увидел тогда, на заре туманной юности, я осознал лишь теперь, на пороге печальной и одинокой старости. Вот так, Сережа.

17 марта 2024

Дидар АБЛАНОВ

мое сердце – место, куда приходят умирать
дряхлые чудеса
с ограниченными возможностями
в коридоре портрет Дон Кихота
он смотрит на восток и жмурится от солнца
как будто его хоронят
по обычаю кочевников
никто не хлопает в ладони
никто не топает ногами
даже твое чуткое ухо
с пятью классами неоконченного музыкального
слышит только шарканье резиновых тапочек
и сквозняк
седьмого калибра

От сердца прочь
По коридорам вен
Порочный круг
Когда ты весь в себе
Колючий сук
Твой оголенный нерв
Мотай на ус
И становись ничем
Хороший сон
Когда и да и нет
Сперва – бульон
Потом как будто свет
Болят спина
Вчера косил траву
Пора взлетать
А не могу

Дидар Абланов родился (2003) и живет в городе Алматы. Выпускник Открытой литературной школы Алматы. Публиковался в журналах «Дактиль», на сайте «Полутона».

Я выну пулю из груди
Зубами длинными как сон
И устремлюсь куда идет
Дорога тонкая как явь

Инерция натужных труб
Гоняет бурый сточный шум
Голодной гордости тупик
Игривой воли нищета

Сплошные спины скудных правд
Я раздроблю тупым ножом
И костный мозг простых вещей
Намажу на насущный хлеб

Туда-обратно – и опять
Маршрут бредовых теорем
Крысиным ядом правоты
Себя спасать
Зачем?

подушка
пустила в себя
голову
и в голову
тонкой струйкой сна
полился
день
перемешанный с куриным яйцом
человек обречен
быть средней матрешкой
ребенок смотрит на него
и думает
что дальше

в женщине-колбе
не
одушевленный
ребенок
нем
как сама
онтологи
я
такой вот
я
зык
любви

на щеке
пощечина
вместо печати
в паспорте
ноги
поломаны
на репетиции
улыбок
ты такой
сиреневый
с кружкой
на паперти
младший
менеджер
санкционированных
ошибок
у коллег
по конечности
планы на вечер
поза
вчерашнего
дня
не давай
им повода
прикинуться
ветошью
а январь

слишком тело
на него
не наешься
Жизнь – это место, где жить нельзя

от ада
я
чутьё
чуть
ё
а
буква
ЛОВИТ
муху

жизнь – грустная гофрированная шея
под тяжестью электромагнитной головы
она обретает
болезненный изгиб вопросительного знака
компасная стрелка носа
погнулась
в пьяной драке с небесными телами
маршрут перестроен
поездка по навигатору займет
еще десять лет

ДРУГОЙ МИР

Рассказ

Минусы любой работы заключаются в рутине. Изо дня в день ты должен делать одно и то же. А человек устроен так, что ему нужно разнообразие. Кому-то больше, кому-то меньше. Я знал людей, которые могли делать точь-в-точь то же самое десятилетиями, и казалось, с ними всё в порядке. Возможно, они знали какой-то секрет или просто были устроены так. Наверное, с некоторыми происходит трансформация, которая превращает их в разумных роботов, и они способны спокойно, не сетуя на свою судьбу, делать то, что делают.

И это хорошо. Нужно уметь смириться и не роптать – если выбора у тебя нет. В старые времена выбора не было почти ни у кого: что ты научился делать, то и будешь делать, пока жив. Общество использовало человека по максимуму, не заботясь о его душевных муках. Поэтому принципиальной разницы между известным певцом и заводским рабочим не было, разве что в уровне доходов. Каждый из них делал то, что умел, и делал до отвращения, до оторопи, до полного отчаяния. Ну или смирялся и превращался в работа. Такова цена: нужно отказаться от себя, порвать отношения с самим собой – если хочешь просто выжить.

Сейчас всё изменилось. Ты волен делать то, что хочешь.

Но и сейчас некоторые предпочитают по старинке. Хочешь жить в реальном мире, который кто-то из «Мира миров» остроумно прозвал «начальным» – работай. Работай кем хочешь, никто тебе не мешает. Меняй профессии, строй бизнес, процветай. Хочешь бороться, борись! А если не получается, есть выход: иди в «Мир миров», там ты выберешь себе такой мир, какой пожелаешь, и станешь там тем, кем нравиться.

Раньше я был противником ухода. Я рассуждал так: этот мир, в котором ты пускай и обречён – реальный. А тот мир, который предлагают в «Мире миров» – нет. Но реальность всегда лучше иллюзии, какая она ни есть! Потому что иллюзия – это обман.

И я оставался жить в начальном мире, я работал, чтобы более-менее достойно существовать. Я испробовал несколько профессий, но любая из них быстро превращалась в рутину, до такой степени, что у меня ноги не хотели идти на работу. И дело не в том, что я не мог найти своего дела! Я находил. Но всякий раз оказывалось, что для того, чтобы в этом деле достичь результата, надо заниматься им не от случая к случаю, когда нравится, а постоянно и усердно, то есть превращая его в мучение.

Я знал эстрадного исполнителя, который был знаменит одной своей песней. Мы с ним время от времени оказывались в общей компании и стали приятелями. И вот он эту песню исполнял сорок лет подряд на каждом концерте. И всякий раз он исполнял её так, как впервые – с полной отдачей. Люди не хотели слышать другие его песни, они хотели эту. И он по-

Иван Гобзев родился в 1978 году. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук. Печатался в журналах «Нева», «Новая Юность», «Зинзивер», «Дружба народов», «Урал» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Моя демонка» (2021, № 1-2).

нимал это, и пел её, и я был уверен, что ему нравится – так хорошо он это делал! Но однажды, выпив и разоткровенничавшись, он вдруг сказал мне:

– Ты не поверишь, но когда я выхожу на сцену, у меня уже пальцам противно от этих аккордов, и в челюстях судорога...

Не все умеют принимать новое. Это связано не только с возрастом – даже если ты молодой, ты можешь не быть прогрессивным, и делать всё по-старому, пускай все вокруг перешли на новое, и в итоге ты будешь одним из последних, кто перейдёт на новое – тогда, когда все остальные перейдут на ещё более новое. Почти все мои одноклассники и однокурсники, по крайней мере те, про кого я знаю, уже покинули начальный мир и выбрали лучшую жизнь. Жизнь, где ты не должен делать то, что не хочешь делать, и волен делать только то, что хочешь. Где на тебе не висит ежедневная необходимость, превращающая тебя даже не в разумного робота, а в какой-то пылесос.

Но я не решался. Хотя я ещё прежде всех этих моих одноклассников и однокурсников осознал, что то, что предлагает «Мир миров» – это потаённая мечта каждого человека и, даже более того, его предназначение. Иначе, если не так, откуда у людей эта навязчивая память о потерянном рае?

Тем не менее, понимая всё это, я медлил и, медля, страдал. Я тянул ляжку обычной человеческой жизни, хотя, казалось бы, вот прямо сейчас сбрось её, и будь свободен и счастлив! И меня это утешало, и быть может само сознание того, что я могу в любой момент бросить, как раз и заставляло меня не бросать и продолжать мучение. Чтобы созреть для чего-то мне порой нужно много времени.

И вот я явился в «Мир миров». Я зашёл в офис и сразу на входе был встречен улыбающейся девушкой, которая, не спрашивая, зачем я пришёл, провела меня к столику с креслом, предложила кофе и чай и сообщила, что менеджер скоро освободится. При этом в её красивой улыбке было что-то презрительное, как будто она думала: «Посмотрите на меня, как я красива, молода и полна жизни, уже мне-то зачем прятаться в другой реальности от своих проблем?!»

Я сел, взял со стола буклет и стал в него смотреть, думая о своём. Спустя несколько минут я понял, что это рекламный буклет «Мира миров». В нём рассказывалось то, что я и так знал – о выгодах жизни в виртуальном мире. В числе прочего в нём сообщалось, что миры «Мира миров» это тот самый рай, о котором мечтает человек, и подлинное место его назначения. Человек заслуживает быть счастливым и свободным, так говорилось там. Он не должен делать то, что не хочет делать, а только то, что хочет!

Я был согласен с этим, иначе я бы и не пришёл сюда. Но я задумался – не в первый уже раз – не лучше было бы, при нынешнем-то процветании человечества, обеспечить ему рай в реальном мире, а не в виртуальном? Сделать так, чтобы те люди, которые хотят лёгкой жизни, получали её, а те, кто хочет сложностей, продолжали бы делать то, что делали наши предки тысячелетиями, но за это получали бы какие-то особые бонусы? Скажем, больше денег, особые подарки, возможности? Но сделать это так, чтобы тем, кто не хочет ничего делать, тоже было отлично и без всяких дополнительных благ!

Видимо, нельзя! – ответил я сам себе. – Видимо, это слишком дорого. К тому же виртуальная реальность даёт намного больше возможностей, каких в реальном мире всё равно никогда не получишь. А те, кто выбрал дополнительную опцию замены памяти, вообще не догадываются о том, что живут в виртуальном мире, и уверены, что он полностью реален! Но если ты не можешь отличить одну реальность от другой, то тогда какая разница и зачем держаться за так называемый «реальный» мир?

Что, кстати, забавно: учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, живущие в начальном мире, чаще сомневаются в том, что он реален, чем те, кто живёт в виртуальном.

– Иван Александрович?! – это был менеджер. Он обращался ко мне с таким видом, как будто ждал меня всю жизнь.

Но откуда он узнал, как меня зовут?! Впрочем, сейчас всё возможно... Я поздоровался.

– Пройдёте в мой кабинет!

Я встал и пошёл за ним, оглянувшись на девушку за стойкой у входа.

– Хочу поздравить вас с правильным выбором, – сказал менеджер и ещё раз пожал мне руку. – Присаживайтесь!

Я ещё не делал никакого выбора – я пришёл только на консультацию, но спорить не стал.

– Итак, – сказал он, – наверное, вы уже в курсе всех нюансов перехода?

– В общем, да... Но я хотел бы задать пару вопросов.

– Конечно, конечно! Я весь в вашем распоряжении.

– Во-первых, я бы хотел сохранить память после того, как окажусь там... Это же возможно, насколько я знаю?

– Разумеется. Это как раз проще всего с технической точки зрения. Намного сложнее – заменить вашу память на другую.

– И что, есть такие, кто заменяет? – я отлично знал, что есть, и много, но хотел об этом поговорить.

Он улыбнулся и развел руками, как бы и удивляясь, и констатируя очевидное:

– Почти все! Не сразу, но спустя какое-то время. Кто-то спустя месяц, а кто-то и спустя тысячу лет!

Я поднял брови.

– Тысячу лет? Но ведь...

– Да-да, – перебил он, – мы стали делать это не так давно. Просто можно настроить программу так, что в виртуальной реальности время будет идти иначе. Ну, например, вы выбираете быть там бессмертным супергероем...

– Я бы не хотел быть супергероем, – перебил я.

Он взглянул на меня внимательно, понял, что ошибся, и продолжил:

– Конечно, лучше что-то привычное! Напоминающее начальный мир, нашу первую реальность, но только более счастливую и свободную?! И просто побольше возможностей?

Теперь он попал в точку.

– Да, – кивнул я и слегка смутился, – возможно, это банально... Но...

– Нет-нет, – поднял он руку, – ваш выбор самый верный! Наш мир был бы совершенно прекрасен, если бы в нём не было изнурительных трудов, старости, болезни и смерти. Ну

и побольше обычного человеческого счастья каждый день, да и просто хорошего настроения! Я с вами совершенно согласен, и когда сам воспользуюсь услугами компании, то выберу именно это!

Меня почему-то удивило, что и он собирается воспользоваться. Но почему нет? Рано или поздно придёт, если ты не мазохист, конечно.

– У вас был и второй вопрос, – услужливо напомнил он.

– Да. Я в принципе в курсе, но хотел уточнить. Это будет сколько-то стоить?

– Нисколько. Ровно нисколько. Взамен мы заберём ваше тело, ведь оно вам, за исключением головного мозга, больше не понадобится.

– Потому что это дорога в один конец? – сказал я.

– Я бы сказал иначе. Потому что это дорога туда, откуда не захочешь вернуться. В рай!

– Не все наверное хотят в рай... Вон девушка на входе так на меня посмотрела, как будто я собираюсь сделать что-то не то...

– А, вот ещё что! – улыбнулся он. – Там, в раю, люди полностью избавляются от всех психологических проблем, мы об этом заботимся!

– Это каких?

– Ну, – ласково сказал он, – например, от мнительности...

Тут он, как будто вспомнив о чем-то постороннем, спросил:

– Прошу прощения, это вы об Ольге? Девушка на входе? Она сегодня дежурит.

– Да, возможно, я не разглядел, что у неё написано на бейдже.

– Вы знаете, она не девушка! – он весело засмеялся. – Она робот. Хорошо сделана, верно? Так, с ходу и не отличишь! А настоящая Ольга, её человеческий прототип, уже больше года наслаждается в ином мире, в «Мире миров»!

Менеджер предложил провести для меня небольшую экскурсию. Я немного беспокоился о том, в каком виде мой мозг будет оставаться в этом мире, и он, поняв это, решил отвести меня в лабораторию – туда, куда по его словам обычно никого просто так не пускают, и даже ему, менеджеру, туда вход воспрещен, но он может попробовать договориться. И он благополучно договорился.

– Вот! – сказал он, проведя меня по длинному коридору. – Пожалуйста, сюда.

Мы зашли в ярко освещенное помещение, которое напомнило мне колумбарий – высокие стеллажи с квадратными ящиками. Я сообразил, что мозги, должно быть, в этих ящиках.

– Похоже на колумбарий, – сказал я.

– Мне так не кажется, – удивлённо возразил он. – Скорее, на серверную!

Я никогда не был в серверных и спорить не стал.

Он сообщил мне, что, как я и догадался, в этих ящиках размещены мозги, подключённые к центральному квантовому компьютеру и ещё к куче каких-то устройств. Ящик полностью герметичен, мозг обменивается сигналами с компьютером, компьютер генерирует для него индивидуальную программу, эмоции, ощущения, восприятие и контролирует общее состояние: заботится о том, чтобы клиенту всегда было хорошо.

– Интересно, – заметил я, – на ящиках нет никаких надписей...

– Потому что это не колумбарий, – улыбнулся он. – Но вы не подумайте, что мы не знаем, кто где находится! Вся информация в компьютере, никакая путаница невозможна.

Он подошёл к одному стеллажу и постучал по ящику так, как будто ждал оттуда ответа.

– Вот здесь, – сказал он, – Ольга! Может, вы с ней и познакомитесь там...

И он подмигнул мне.

Я покраснел.

– И много я могу там встретить старых знакомых? – быстро спросил я.

– Конечно! Но не факт, что вы их узнаете – выглядеть они там могут как угодно. А если узнаете, то пообщаться с ними сможете только в том случае, если они не выбрали опцию замены памяти. В противном случае центральная программа заблокирует все ваши попытки поговорить с ними о былом, точнее – об этой реальности, – он обвёл рукой вокруг, невольно указывая на ряды мозгов. – А так, конечно, без проблем, можете встретиться!

Задумавшись о чём-то на секунду, он наклонился и доверительным шёпотом спросил:

– Вы имеете в виду кого-то конкретно?

Я опять покраснел и замахал руками:

– Нет-нет! Это просто любопытство.

На самом деле решение я принял давно. Лет десять назад. Поэтому ещё до посещения офиса «Мира миров» понимал, что выбор сделан. И теперь, хотя я очень волновался, я знал, что пути назад нет.

Я был в каком-то смешном балахоне и шапочке, босиком. Меня провели в помещение, в центре которого стояло операционное ложе. На ложе была постелена простыня, она сбилась, обнажив покрытие из материала, похожего на кожу. Мне не понравилось, что простыня сбилась, я взглянул на людей в халатах, но они были заняты болтовней между собой. Я поправил простыню, и мне стало неловко оттого, что я это делаю сам. Потом я лёг, кто-то вполборота сказал, как именно лечь, по-прежнему не обращая на меня внимания. Затем ко мне придвинулся человек с маской в руке, и мне стало страшно. Этот человек понял моё состояние и подмигнул мне. Маску приложили к моему лицу, и я догадался, что сейчас отключусь, и подумал, уже не со страхом, а с какой-то пронзительной печалью: «Простите меня все, кого я обидел в этом мире!»

Открыв глаза, я понял, что сделал правильный выбор. Во-первых, мне было хорошо. Я находился в таком отличном настроении, в каком не помню чтобы вообще когда-то был. Возможно, в детстве, только я уже об этом забыл. Я смотрел по сторонам, видел удивительный красивый мир и улыбался. Я чувствовал себя великолепно – полным сил, энергии и желания жить. Я решил немедленно начать исследовать этот мир. Я знал, что он очень велик и разнообразен, и мне понадобится миллионы лет, чтобы всё исследовать. А за это время он, конечно, будет становиться ещё более богатым.

По контракту я выбрал мир, в основных характеристиках похожий на тот, который я покинул. Я не сторонник экзотики. Знаю, что некоторые выбирают совсем непохожие, абстрактные или абсурдные, с другими законами природы, и так далее. Кому-то нравится аниме, а кому-то пиксельные игры – возможны и такие миры. Один известный математик выбрал мир математических абстракций. В этом мире нет ничего, кроме математических идей:

идей треугольников, квадратных корней, комплексных чисел и всего такого. Он объяснил свой выбор тем, что только в таком мире сможет провести целую вечность, не скучая.

Я же проявил мало фантазии. Я был уверен, что буду чувствовать себя неудобно в мире, совсем не похожем на начальный мир. Такой уж я человек.

Но мой новый мир был не точь-в-точь таким же, а с существенными улучшениями и дополнениями, которых так не хватало в старом мире и которые сделали бы его намного более пригодным для обитания. В этом мире ты мог делать то, что ты хочешь, и никогда не делать то, чего не хочешь. Разумеется, имелись некоторые программные ограничения, призванные не нарушать свободу других игроков.

Мой мир не был и «авторским», заточенным только под меня, в котором я был бы кем-то вроде бога. В таком мире, по крайней мере на первых порах, и не было бы никого, кроме меня и ботов. А этот мир был общедоступным, одним из первых, разработанных в «Мире миров», и потому содержащий наименьшее количество багов и больше всего живых пользователей.

В нём, конечно, тоже имелось полно ботов, но и настоящих людей немало, причём отличить одних от других не было почти никакой возможности, разве что они сами в этом признавались. И те, и другие вели себя совершенно одинаково. Тех же, кто выбрал замену памяти, идентифицировать как людей в принципе не существовало способа – кроме одного, случайного, о котором я и расскажу.

Однажды я оказался на концерте бардовской песни. Вообще я не большой поклонник бардовской песни, но в данном случае дело было в том, что выступал мой старый знакомый: тот самый певец, который жаловался мне в начальном мире, как ему надоела его работа. Я увидел его случайно на афише, на которой он был изображён в своём обычном виде – с гитарой на колене и с длинными волосами. Теоретически это мог быть и не он – в том случае, если бы он продал кому-то свой аватар, но едва ли это кому-то было нужно.

И вот я пришёл на концерт, и зал был полон пенсионеров. Я усмехнулся – то же самое, что и раньше! Правда, разница в том, что все они, скорее всего, боты. Кто же выберет в виртуальной реальности жизнь пенсионера?

С билетом мне повезло – я сидел в третьем ряду по центру.

Вскоре вышел и он. Поклонился, прижав правую руку к сердцу, а другой придерживая гитару. Потом сел на высокий стул, взял гитару поудобнее и посмотрел в зал, как будто ожидая чего-то. Зрители зааплодировали. Аплодировал и я. Раздались крики:

– Про весну! Про-вес-ну!

Он кивнул и ударил по струнам. Зал затих. Он проиграл вступление и запел:

– Этой нежной весной я встретил тебя, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та... Ты была как волна, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та...

Люди в зале качались в ритм песне, словно одна большая волна. Лица были радостны и в то же время печальны, это была песня их юности. И моей юности, а точнее, отрочества. Но я не качался. Я сидел, потрясённый. Это было ровно то же самое, что он делал в реальном мире десятилетиями и отчего так сильно устал! Я глядел на него и никак не мог понять, зачем он это делает и здесь – здесь, где можно делать всё что угодно!

С трудом досидев до конца, я выбежал в фойе и заказал шампанского.

Я не был расстроен – потому что программа «Мира миров» постоянно мониторила моё состояние и если замечала, что мне становится нехорошо, делала так, чтобы мне снова было хорошо. Поэтому всего лишь с приятной грустью я думал об этом моём знакомом и его странном выборе. Я простоял так довольно долго, поглощённый очень глубокими, как мне казалось, размышлениями.

– Привет! – вдруг услышал я знакомый голос.

Я оглянулся и увидел его. Он стоял с подаренным ему огромным букетом цветов и улыбался. Я тоже улыбнулся, мне было приятно, что он узнал меня!

– Привет, Юлий, – начал я, и дальше хотел сказать про то, что рад его видеть снова, но речь моя после слова «Юлий» резко оборвалась. Программа не давала мне сказать ничего такого, что указывало бы на его прошлое из начального мира! И я стоял перед ним, красный от напряжения, и не мог вымолвить ни слова. Это могло означать только одно – он выбрал замену памяти, и программа теперь защищала его от ненужной и опасной для него информации. Он, глядя как я тужусь, видимо, решил, что это происходит из-за моего волнения от встречи с кумиром.

– Я увидел тебя в зале, – ласково сказал он, – не часто на моих концертах увидишь молодые лица! Вот, решил подойти, познакомиться! Вижу, шампанское пьешь?

Я кивнул.

– Давай, составлю тебе компанию, если не возражаешь!

Конечно, я не возражал.

Бард выпил много и разоткровенничался.

– Знаешь, Ваня, – сказал он мне, – как мне надоело петь одно и то же! Я ведь сочинил не одну песню. За полторы тысячи лет, да-да, не удивляйся, я достаточно долго живу на этом свете, я сочинил много песен! И среди них есть, скажу без ложной скромности, пара десятков весьма достойных! Но люди хотят слышать только «про весну»! А песня-то кстати, называется, «Пришла любовь», но этого никто не помнит...

Он помолчал, допил бокал и повторил:

– Одно и то же! Из года в год. И что впереди, целая вечность? Ты не поверишь, но когда я выхожу на сцену, у меня уже пальцам противно от этих аккордов, и в челюстях судорога... А что делать?!

– Может, бросить это всё? – робко предложил я.

– Так я не умею ничего другого! – вздохнул он.

Я хотел ему сказать, что в этом мире, в отличие от прежнего, это совсем не проблема, потому что здесь не нужно зарабатывать на кусок хлеба и всё такое, занимайся чем хочешь и нет проблем, но программа снова меня заблокировала – нельзя было с ним говорить о том, что связывало его с начальным миром. Поэтому некоторое время помолчав – программа блокирует на пять секунд, при повторной попытке на минуту, при следующей бессрочно, пока дело не рассмотрит техподдержка – я сказал:

– Но впереди же у вас целая вечность, вы сами сказали!

– Да, но... – он взглянул на меня холодно, как бы спрашивая, зачем я говорю о том, о чем он не хочет думать. – Сложно это всё! Ну, мне пора! Молодая жена ждёт. Кстати, ты вот что,

заходи на днях в гости! А нет, лучше в следующем месяце, у меня же гастроли... Покажу дом! У меня вилла на берегу океана, подарили поклонники!

И он весело засмеялся, показывая, что всё не так уж и плохо.
Я обещал быть.

Весь месяц я занимался исследованием нового мира. Я хватался за всё и с волнением отмечал, что всего слишком много. Повсюду, в каждом уголке оказывалась куча приключений, квестов, встреч и тайн, и я терялся, желая ничего не пропустить и в то же время понимая, что это невозможно. В конце концов я решил, что не нужно стараться сделать сразу всё, ведь впереди у меня целая вечность. Лучше не спешить и брать понемногу.

В этом мире было всё то, о чём в начальном мире только мечтаешь, на что надеешься, что предчувствуешь и угадываешь в его тенях, но что никогда не происходит. Поразмыслив, я понял, что успех «Мира миров» не только в том, что вам предлагают чрезвычайно интересный и богатый мир, но и в том, что там делают с вами. Во-первых, программа явно подстраивает под вас какие-то события. В начальном мире мы бы назвали это небывалым везением. Во-вторых, здесь изменено ваше восприятие. Человек тут в целом более радостен, открыт и любопытен – ему интересно и хочется жить. Не случайно на «Мир миров» работают лучшие в мире нейрофизиологи, они знают, как сделать вам настроение.

Проанализировав это, я понял ещё одну, как мне показалось, важную вещь. Многие из нас, живя в начальном мире, часто воображают иные миры, в каких бы они хотели оказаться. Обычно это бывают фантастические и сказочные миры, отчасти подсмотренные в книгах, фильмах и играх, в которых человек в своей фантазии проживает иную жизнь, такую, какую ему бы хотелось.

Однако, понял я, оказись он там, ничего хорошего бы из этого не вышло. Он точно так же страдал бы, и был бы недоволен, и мечтал бы об ином. Потому что мир-то другой, а ты сам тот же самый. Проблема не в мире, а в тебе. Чтобы тебе стало хорошо, нужно самому стать другим. И в «Мире миров» это поняли. Они не просто дают тебе мир мечты, но и ещё меняют тебя – чтобы ты был действительно счастлив в новом мире.

– Познакомься, моя Жизель! – Юлий, стоявший рядом с женой, шуточно поклонился и пригласил меня войти.

Я не мог скрыть удивления – это была Ольга, та самая, которую я видел в офисе «Мира миров», точнее, её копию в виде разумного робота. Конечно, меня она узнать не могла, потому что никогда не видела, но она заметила моё удивление.

– Мы знакомы? – спросила она.
– Нет, – ответил я.

За ужином мы много и весело болтали. Готовил Юлий – он оказался превосходным кулинаром. Не знаю, был ли он таким в начальной жизни или приобрёл эту опцию здесь. Улучив момент, когда Юлий отошёл в другой конец залы, чтобы принести нам что-то эдакое, я хотел шепнуть Жизели, что видел её копию в офисе «Мира миров», но мои скулы внезапно свело судорогой так, что я даже не успел раскрыть рот, и в таком виде застыл, выпучившись на неё

и покраснев от напряжения. Она вопросительно посмотрела на меня, но, к счастью, первая блокировка всегда короткая и через пять секунд я уже мог общаться. Я быстро заговорил о другом.

Я не понял, почему включилась блокировка – то ли потому что Юлий был недостаточно далеко и мог нас слышать, то ли потому что Жизель тоже выбрала замену памяти. Скоро у меня представилась возможность это проверить: она попросила меня помочь принести ящик с виниловыми пластинками с третьего этажа. Я знал, что вторая попытка будет стоить мне минуты молчания, но решил рискнуть. Когда мы поднимались, я, стоя позади неё – чтобы она не увидела моего замешательства в случае неудачи, – сказал:

– Ольга, я видел тебя в начальном мире!

Она остановилась, но не обернулась и стояла молча, ожидая продолжения.

Я объяснил ей, при каких обстоятельствах видел её, её это сильно расстроило. Оказывается, она понятия не имела, как её образ будут использовать в компании после ухода.

– Давай поговорим после, – шепнула она, пока мы спускались с ящиком вниз. – Кстати, когда тебя переключило за столом, я сразу поняла, что ты решил поговорить о начальном мире!

Когда Юлий отправился спать (он перебрал шампанского и долго рассказывал нам о том, как ему надоела его работа), мы с Ольгой, или по-новому Жизелью, смогли поговорить о прошлом.

– Ты не представляешь, – сказала она мне устало, когда муж затих в дальней комнате, – эта история повторяется каждый день! Каждый вечер он напивается и кричит про то, что больше не хочет исполнять «Пришла любовь». Потом бросает в стены бутылки и бокалы, и только выместив на мне раздражение, засыпает. Сегодня он ещё прилично себя вёл – всё благодаря тебе! Спасибо, что пришёл...

Я спросил, зачем же она с ним живёт.

– Ты просто не знаешь, какой он человек! – ответила она, прижав руки к сердцу. – Он чудесный! Я и покинула начальный мир только из-за него...

И она рассказала мне, что с детства была влюблена в него. Она влюбилась, случайно оказавшись на его концерте. В то время он уже был не молод – в начальном мире ему было за пятьдесят.

Она стала ходить на все его концерты, добиваться встреч с ним, но он избегал её, считая, что она слишком юна для него. Она была настойчива, узнала номер его телефона, выяснила, где он живёт. В конце концов он впустил её к себе в дом, потому что стало уже неловко перед соседями. Между ними произошло объяснение. Он, тронутый глубиной её чувства, ответил ей взаимностью. Но предупредил, что твёрдо решил уйти в «Мир миров», потому что жизнь и профессия стали ему в тягость, и он боится сделать с собой что-нибудь плохое. В то время ему было уже под семьдесят.

Она приняла решение уйти с ним. Он её, конечно, отговаривал, но она была непреклонна. Он сразу выбрал опцию замены памяти, потому что не хотел помнить о жизни в начальном мире, так она ему опостылела. Она же решила память сохранить – по той причине, что не хотела расставаться с воспоминаниями о том, как обрела любовь.

– Поначалу всё было прекрасно! – так закончила она рассказ, когда уже стало светать. – Он помолодел духом, он был весел и жизнерадостен, и совсем почти не пил. Нам было так хорошо! Но через какое-то время всё пошло по-старому...

– В смысле?

– Он стал точно таким же, каким был в начальном мире! И превратил свою жизнь точь-в-точь в то же самое!

– Но почему?!

– Не знаю... – вздохнула она.

Я бывал частым гостем в их доме, и за первые пятьсот лет виртуального времени, что я провёл там, не проходило и года, чтобы я не навестил их. Я по-настоящему подружился с ними. Хотя все эти годы происходило одно и то же: Юлий пел «Пришла любовь», а потом напивался и ругался с Ольгой, как будто это она была виновата в том, что он вынужден заниматься делом, которое ему опостылело. Концертные залы он уже не собирал, а пел в ресторанах, на свадьбах и корпоративных вечеринках, куда его приглашали, как я подозреваю, боты. Из настоящих людей помнили кто он такой разве что я и Ольга.

Я вёл очень насыщенную жизнь, и в какой-то момент, устав от земной жизни, отправился в космос. В отличие от начального мира, там не было ограничений на перемещение в пространстве со скоростью света, и я мог побывать где угодно во Вселенной благодаря вымышленным технологиям.

Где я только не был, и чего только не видел! Я участвовал в сражениях киберботов против геометрических фигур на краю ойкумены, я разведывал области-пространства времени, где ещё не ступала нога человека, я находил чудесные артефакты, способные наделить своего владельца немислимыми способностями. Я полгода провёл в заточении в отдалённом мире, один в один напоминаящем начальный мир, и чуть не сошёл с ума, в какой-то момент поверив, что это и в самом деле начальный мир, но моим друзьям удалось вызволить меня, и вместе мы разрушили эту злую иллюзию, а её конструктора загнали туда, откуда он ещё тысячу лет будет выбираться. Я почти подобрался к магическому кристаллу, позволяющему творить миры, но влюбился в дочь вождя племени, охраняющего этот кристалл. Потом я сам стал вождём и хранителем кристалла, а когда понял, что моя возлюбленная – это бот, разочаровался и улетел на Землю. И первым делом направился в дом Юлия, после почти годового отсутствия. Я пришёл вечером, Юлий, уже наругавшись с Ольгой, пьяный крепко спал. И вот тогда-то у нас и начался с ней роман.

Мы скрывали наши отношения от Юлия. Я боялся потерять его дружбу, она боялась ухудшить его и без того плохое состояние. Но мне стало трудно общаться с ним, потому что я видел, с каким доверием он относится ко мне. Иногда мне казалось, что узнай он про наши отношения, ему было бы всё равно, и поэтому лучше признаться ему. Но Ольга считала, что даже если он и простит нас, то не простит этот мир, который, по его мнению, таким образом преподнесёт ему ещё одно предательство.

Я стал реже бывать у них и специально стал забираться так далеко, куда не вели гиперпространственные туннели и откуда выбираться особенно долго. Так, однажды я оказался в странном месте, где ничего толком не работало и всё выглядело так, как будто не доделано. Люди там не разговаривали, а если и говорили что-то, то сразу было видно, что это боты, в здания нельзя было проникнуть, предметы нельзя взять, небо было серое и застывшее, как будто стоял вечный ноябрь, и одни и те же машины пустые ездили по кругу. Я хотел быстрее выбраться оттуда, но не мог – я обнаружил, что хотя вход и был, выхода-то не было! Натерпелся я отчаяния в этом мире. Я был уверен, что никогда уже из него не выберусь...

Но со временем я стал привыкать. Я завёл себе питомца – квадратную собаку, которая умела вертеться под ногами и вставать на задние лапы. Кормить её не нужно было, достаточно было погладить. Ещё там было заведение с настольными играми, но работал только аэрохоккей. И со временем этот мир перестал казаться мне таким уж убогим.

В тот момент, когда я почти полностью смирился, меня нашла служба поддержки «Мира миров». Они очень извинялись. Выяснилось, что я оказался в ранней версии разработки мира, которая была заброшена, потому что финансирование прекратили. Во избежание повторения подобных случаев они полностью изолировали этот мир на отдельных носителях, отключив их от серверов, а мне в качестве компенсации подарили кучу всяких бонусов и плюшек.

Когда служба поддержки вернула меня домой, оказалось, что здесь прошло всего несколько недель от начала моего путешествия, потому что в том, нерабочем мире, время вообще не шло.

Но за эти три недели я успел так деградировать, что некоторое время не мог разговаривать ни о чём, кроме как о своей собаке, которую мне разрешили взять с собой, да ещё об аэрохоккее. Конечно, Юлий и Ольга это заметили и очень переживали за меня, и однажды я случайно подслушал, как Юлий спрашивал Ольгу, не думает ли она, что я стал полным дебилом.

Но была и польза. За это время я понял, как люблю её. Я не забывал о ней даже тогда, когда сам почти превратился в бота в том недоделанном мире! Наша любовь прошла испытание...

Мы с Ольгой обнимались на диване, и в этот момент вошёл Юлий. Мы-то были уверены, что он крепко спит у себя в комнате после такого количества выпитого. Он зашёл в халате, посмотрел на нас красными воспалёнными глазами, прошёл к бару и взял бутылку вина. Мы замерли в объятиях друг у друга, не зная что делать. Но Юлий, не глядя более на нас, ушёл с бутылкой к себе.

Наутро он рассказал Ольге, что ему приснилось, что она изменяет ему с каким-то мавром. Он рассказал об этом между делом, так буднично и равнодушно, как будто не видел в этом никакой проблемы, или же и допустить не мог мысли, что она в самом деле способна на измену.

Она пересказывала мне это, рыдая:

– Мне так жалко его! Так жалко! И так стыдно за моё гнусное предательство!!!

– Но любимая, – попытался я её утешить, – может, это и не предательство? Ты же не должна быть с ним вечно! Ты вообще ничего ему не должна...

Она резко отстранилась от меня:

– Ты ничего не понимаешь! Предавая его, я предаю свою детскую мечту!

Мои попытки разубедить её ни к чему не привели. Мы поссорились, и она сказала мне, чтобы я больше не приходил, пока она сама не попросит меня об этом.

Юлий звал меня и не понимал, почему я не хочу повидать старого друга. Мне приходилось придумывать всякие нелепые оправдания про то, что я очень занят, хотя как раз наоборот я совершенно не знал чем заняться, потому что все развлечения этого мира стали мне надоедать и казаться однообразными, несмотря на их разнообразие.

Так прошло несколько томительных недель, в течение которых Ольга оставляла без ответа мои мольбы. И вдруг, как гром среди ясного неба, от неё пришёл ответ:

– Ариэль!

Это она так звала меня – Ариэль – потому что в детстве очень увлекалась эльфийской тематикой. Так вот, она написала:

– Ариэль! Я приняла решение. Я забуду о начальном мире, и у меня появится другая история – история, в которой у нас с тобой ничего нет. Это значит, что все твои попытки говорить со мной о прошлом будут заблокированы. Прошу тебя, в память о том, что нас связывало, не предпринимать никаких шагов по восстановлению наших отношений!

Мог ли я отговорить её от этого шага? Достаточно ли я приложил усилий, чтобы оставить её? Не следовало ли мне во всём признаться Юлию и таким образом удержать её? Эти вопросы наверное никогда уже не отпустят меня. Я думаю об этом вновь и вновь, и не нахожу себе оправдания.

В общем, я её потерял. Он стала другой, забыв о реальном прошлом. Я не пытался больше восстановить с ней отношения, это было и невозможно – она предусмотрела вероятность таких попыток с моей стороны. Я не мог теперь говорить с ней ни о чём, что хотя бы косвенно касалось отношений между нами, программа сразу блокировала меня. Но было не только это: по всей видимости, программа корректировала и её восприятие меня – она стала ко мне совершенно равнодушна.

Посещение их дома превратилось для меня в мучительную пытку – я не мог спокойно видеть её красоту и ледяное безразличие.

И я перестал ходить к ним в гости.

Но мне по-прежнему было хорошо. В этом мире не может быть плохо. Даже те, кто страдает, кто недоволен собой и окружающими, получают удовольствие от своих страданий и неудовольствия. И вот я теперь был преисполнен горечи и разочарования. Но это была приятная горечь. Так работает программа, она всё время контролирует наши мозги и, если что, обеспечивает их в нужном количестве всем необходимым. В этом преимущество подхода «Мира миров», это не алкоголь и наркотики начального мира. Здесь тебе не нужно даже пить кофе или чай. Ты и так в тонусе – если сам хочешь этого.

Но есть кое-что, что со временем стало мешать мне наслаждаться. Хотя мир был полон приключений и развлечений на любой вкус, и выбрать тут ты мог любую судьбу, всё это было не по-настоящему. В том смысле, что ты знал – это всё симуляция, а есть реальный мир, где твои мозги лежат в ящике. Да, философы, учёные и особенно представители «Мира миров» постоянно утверждали, что различия между тем, что мы называем реальным, и вир-

туальным на самом деле нет, это всё иллюзия, и любая реальность – суть последовательность битов, просто информация!

Но всё же! В самые прекрасные и волнительные моменты я думал: «так, а ведь сейчас в том мире в ящике лежат мои мозги, и программа работает с ними!» И это мешало. Ощущение было такое, как будто ты просто поиграл в свободное время в захватывающую игру, но где-то там тебя ждёт реальный мир, и от него не спрятаться...

Поэтому-то, наконец понял я, девяносто девять процентов в итоге и выбирали замену памяти. Чтобы более не сомневаться в реальности этого нового мира. Но страшно было не это. На примере Юлия и других я видел, что выбирая замену памяти, они выбирали прежнюю, теперь уже забытую жизнь, и вкатывались в ту самую колею, из которой так хотели выбраться.

Последние четыреста лет я живу со своей квадратной собакой в пальмовой хижине на небольшом живописном острове в океане, где кроме меня обитает племя дружелюбных аборигенов. Я живу отшельником, но иногда помогаю местным с кое-какими делами, а вечерами выезжаю на лодке ловить рыбу. Этот образ жизни меня полностью устраивает. Мне хорошо, даже если я вообще ничего не делаю, а сижу целыми днями на веранде в кресле-качалке и смотрю на залив. Так устроена программа, тебе тут всегда хорошо.

Но как бы хорошо мне не было – а мне здесь в самом деле хорошо, – я почти ни на минуту не забываю про мозги в ящике. Я их живо представляю, и мне становится не по себе. Глядя на такой убедительно красивый горизонт, где бирюзовый океан сливается с лазурным небом, на пышные облака, такие правдоподобные, что в них невозможно сомневаться, на смеющихся детишек, играющих в прибое, я думаю: этого нет! Ничего нет!!! Есть только мозги в ящике, а всё остальное – единицы и нули...

И тогда, даже несмотря на контроль со стороны программы, мне становится дурно, меня как будто начинает тошнить.

Нужно сделать замену памяти! – решаюсь я и уже собираюсь подняться с кресла, чтобы немедленно заняться делом.

Но тут же думаю: а что если тогда я стану тем собой, от которого убежал из начального мира? Да, мир я буду воспринимать как полностью реальный, но мне будет в нём хуже, чем сейчас, даже несмотря на навязчивую, доводящую до сумасшествия мысль о мозгах в ящике! Ну, может и не хуже, но уж точно не лучше... Я-то знаю, как это было! Я видел здесь Юлия, Ольгу и многих других, кто выбрал замену, и что из этого вышло!

Есть и ещё один вариант, которым никто никогда не планирует воспользоваться и, насколько знаю, почти никогда не пользуется.

Этот вариант – вернуться в начальный мир. Но твоего тела уже нет, оно использовано компанией. Быть может, кто-то другой, изнашив своё старое тело, ходит теперь в твоём облики.

Но ты можешь взять у компании другое тело – которое оставил кто-то после перехода в новую реальность, и жить в нём. Я навёл справки – для таких как я, кому нечем заплатить, можно надеяться только на изношенные тела. В тот момент, когда я смотрел вакансии, допустимо было тело девяностопятилетней женщины – и этим вариантом интересовались сразу многие. Почему эти тела называются вакансиями? Потому что если ты не приобретаешь

тело, а получаешь его от компании просто так, то ты должен отработать его – то есть стать пожизненным сотрудником компании. А искусственное кибертело получить нет шансов, если ты, конечно, не миллиардер или суперзвезда, чьего возвращения ждут миллионы.

Так что перспектива с возвращением не очень. Возвращаться в реальный мир для того, чтобы оказаться в гораздо худшем положении, чем было до того, как ты из него ушёл?.. Хотя кто-то, видимо, и это выбирает, придя к выводу, что лучше даже самая суровая, но настоящая реальность, чем какая угодно виртуальная. Но я бы, скорее, выбрал замену памяти... И снова, подумав так, я понимал, что не выберу и это.

Так, целые дни я проводил в этом замкнутом круге, чувствуя, что продолжаться по-прежнему не может, и не находя выхода.

На острове у меня появился приятель. Понять кто он – человек или бот – я не смог. «Мир миров» очень хорошо делает ботов, и некоторые похожи на людей больше, чем сами люди. Возможно, и тут тот самый случай. Я запросто могу говорить с ним о начальном мире, программа меня не блокирует. Он слушает меня с интересом и делает вид, что верит, а может, верит на самом деле. Сам он утверждает, что путешествует по другим мирам, но никогда не был в начальном мире.

Он шаман в племени, живущем на этом острове. По представлениям аборигенов он общается с духами и сопровождает умерших в загробный мир. Мы стали часто проводить время вместе, разговаривая о разных вещах. Я рассказал ему и про то, что мои мозги лежат в ящике, и что я не знаю как поступить. Он как всегда слушал меня внимательно и расспрашивал о деталях, но не давал советов. Тогда я обратился к нему с вопросом, как бы он поступил на моём месте. Он ответил:

– Никак, потому что твоё место уже занято. Если бы я был на твоём месте, то это был бы не я, а ты. Поэтому это невозможно и твой вопрос не имеет смысла. Но у меня есть ещё один вариант, который я могу предложить тебе на выбор, раз другие тебе не нравятся.

– Что за вариант? – улыбнулся я, ожидая услышать от него поучение в стиле древней восточной мудрости.

– Ну... Я могу сделать кое-что, что, возможно, поможет тебе. А может и нет.

– И что же это?!

– То, что ты называешь начальным миром, на самом деле не реальный мир. И твои мозги в ящике настолько же не реальны, как эти двое на пляже перед нами. Но я могу проводить тебя в настоящий начальный мир.

– Ты что же, можешь сломать программу? – я попытался пошутить, чтобы скрыть охватившее меня волнение.

– Можно это и так назвать. Но подумай очень хорошо, пути назад не будет.

– А Ольга там есть?

– Там всё есть.

Он встал и пошёл прочь – к пляжу, где под закатом обнимались двое, до того зачернённые солнцем, что казались тенями на песке.

Александр АКУЛИНИЧЕВ

Ж. А. Г.

Рассказ

За Волгой горело. Дрон, наверное, была первая мысль. Но какой дрон посреди степи, зачем? Бурый дым несло ветром вправо, на юг, по течению. Ветер, и без того горячий, там скорее всего стал обжигающим.

Андрей присел на кусок бетона и чуть не вскрикнул: на августовском солнце камень раскалился, как русская печь. Интересно, эта бетонная глыба с торчащей в углу арматуриной – тоже часть могилы, или что?

Надгробия вокруг были искорежены и повалены. Железные кресты и обелиски с облупившейся синей краской кренились влево-вправо, на север – на юг, по течению и против течения. На некоторых оставались таблички, тоже изувеченные временем и ветром, но далеко не на каждой еще можно было что-то разобрать.

«Ж.А.Г. 1927–1952» – такой была надпись на стеле по соседству. Почему хоронившие Ж.А.Г. не вписали его (или ее?) полное имя, а ограничились тремя буквами? Они ведь точно это имя знали, раз знали год рождения. Экономия краски? Надежда перезахоронить позже, более основательно? Пометка для своих?

У Андрея сложился в голове сюжет.

После войны в поселке Водоотстой жила молодая, очень некрасивая, можно даже сказать уродливая девушка. Звали ее Жанна Акрамовна Гарафеева, вся ее родня погибла в боях за Сталинград. Еще не отгремели выстрелы, как она потеряла рассудок: бродила туда и сюда по поселку Водоотстой и бубнила под нос что-то на смеси русского, татарского и немецкого. Жители судачили, будто Жанна тайно воскрешает фашистов, что недогнили в братской могиле у оврага.

Слух этот из досужих разговоров перерос в полную уверенность. И однажды кто-то из поселковых увидел, как поздно вечером, в полнолуние, Жанна спускалась в овраг одна, а через полчаса возвращалась, ведя под руку высокого, стройного мужчину, ковылявшего неровной походкой. На мужчине были немецкая форма и дырявая каска, и сквозь запах пыли от него веяло мертвечиной.

Ну и дальше они, поселковые, убили Жанну. Закололи вилами, закопали на холме, пометили могилу одними буквами, чтобы никто лишний раз не произносил имени ведьмы, но все же избежал этого места.

А почему девушка некрасивая-то, спрашивал Андрея внутренний Игорь Кириллович, продюсер. Почему бы не сделать ее симпатичной, даже такой фам-фаталь, подчеркнуть мистическую сущность? Позовем Крылову из «Топей», провинциальная хтонь, все дела.

Александр Акулиничев родился в 1988 году, вырос в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный университет по специальности «Журналистика». Главный редактор сайта Psychologies.ru. Публиковался как журналист, кино- и литературный критик («Вокруг света», «Здоровье Mail.ru», Storyport и др.). Переводчик детских книг с английского языка («Хвостыуны» и др.). Сборник рассказов «Полынный зной» вошел в лонг-лист премии «Лицей» (2024). Живет в Москве.

Фильм не об этом, я не хочу провинциальную хтонь, я же тут вырос, мне здесь нравится. Вот, за вдохновением возвращаюсь, парировал Андрей. Внутренний Игорь Кириллович покачал головой. Какое вдохновение, Андрей, садись и работай. Проснулся, зубы почистил – и за монитор. Только так, только так.

Ж.А.Г. мог быть мужчиной. Банально – Жуков Андрей Григорьевич. В поселке Водоотстой жили только Жуковы, и они лоббировали более благозвучное название «Жуково», но облизполком всё отказывал и отказывал. Всех детей в поселке называли так, чтобы инициалы не повторялись, и из ФИО можно было составить модную в раннем совке аббревиатуру: Алексея Борисовича Жукова звали ЖАБОМ, Варвару Олеговну Жукову – ЖВО и так далее. Полные имена и фамилии – пережиток царского прошлого.

Натужно, неправдоподобно, без души. Внутренний Игорь Кириллович прервал фантазию.

Поодаль, на ржавом обелиске, сидел сокол. Он поминутно поворачивал голову на Андрея, но не боялся того и не считал угрозой. Птица тоже наблюдала за пожаром. Возможно, в соколиные планы входил перелет через реку и охота на полевок в леске. А теперь лесок горит, и сокол в печали. Даже в каком-то ступоре.

Андрей поднялся с камня и побрел по вязнущему песку выше на холм. Сухая трава щекотала щиколотки, порывы горячего ветра норовили сорвать бейсболку, сокол поглядывал осуждающе, но не улетал. Песок как будто дышал, шевелился, пыхтел. Кресты, казалось, скрипят под неумолимой гравитацией и вот-вот упадут. А если прикоснуться к любому из обелисков, тот наверняка рассыпется, оставив на ладонях рыжую пыль.

«Фролов Николай Степанович 1916–1952», даже с фотографией: в летных очках, смотрит туда же, куда и сокол, за Волгу. «Ермилова Александра Степановна 1902–1951» – обладательница полноценной гранитной плиты, когда-то тоже с фотографией, но теперь на ее месте только овальная выемка в камне. В верхней части надгробия – еще одна выемка, в форме пятиконечной звезды. «Боровков Иван Максимович 1898–1952» хмурится с выцветшего снимка, давит взглядом-утюгом. Его крест стоит ровно, будто по стойке смирно, а табличка куда новее соседних – видимо, Иван Максимович еще не забыт. Во вселенной мультфильма «Тайна Коко» он обитал бы в лимбе, гулял бы там на своих двоих как полноценный живой. А от Ж.А.Г. в том лимбе остался бы только призрачный контур, по которому не понять даже пол человека.

Что здесь случилось в начале пятидесятых? Почему нет более свежих могил? Эпидемия холеры или тифа? Большой пожар вынудил людей оставить поселок? Авантюрист-зазывала, продавец дождя, агитировал всех сорваться и переехать в места побогаче, где почва без глины и песка?

Андрей надеялся найти тут сюжет в духе «южной готики». Придумать фактурных героев. Нашупать историю, которая тронет даже тех, кто никогда не бывал в степи, не вдыхал эту чертову пыль. Стать таким русским Теннесси Уильямсом.

Вместо этого он уже с час наблюдал, как вокруг ничего не происходит. Горит за рекой, грустит птица, из травы с шорохом выпрыгивают кузнечики. Воздух раскаляется.

Около одной из могил Андрей отчетливо разглядел череп. Две черные глазницы, ряд неровных зубов, аккуратная, почти идеально округлая макушка. В два прыжка через пыль он добрался до этого места и осторожно прикоснулся к кости, которая восемьдесят лет назад хранила чьи-то мысли и переживания. Череп обжигал руки – и почти ничего не весил, убедился Андрей, когда поднял его.

Бедный Йорик, провозгласил Андрей, вытянув руку с черепом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Сокол взмыл в небо, не выдержав Андреевой патетики. Пахнуло горелым. Андрей представил себя со стороны: мужчина с первой сединой в бороде стоит на вершине песчаной насыпи, под палящим солнцем, и смотрит в глазницы человеческого черепу, цитируя «Гамлета». В рабочее время, посреди вторника. Вокруг – лишь мертвецы, кузнечики да разочарованный сокол.

Жаль, некому сфоткать. Селфи не передаст абсурдную магию момента. Он все равно полез в карман за телефоном – и в этот миг пыльный холмик под его ногами рассыпался и покатился по склону сотней отдельных комьев. Секунда – и Андрей уже видит, как падает туда, где только что была могила Йорика. Он ударяется головой о железный крест и слышит, как коленная чашечка с размаха врежется в скрытый до этого под пылью и ковылем бетонный блок. Один уже звук столкновения вызвал у Андрея слезы – и только затем их догнала боль.

Череп все еще был в руке Андрея. Он смотрел на потомка укоризненно.

Мужчина с первой сединой в бороде лежит в чьей-то могиле, держится за ногу, орет и не может подняться. Вокруг – череп, какие-то щепки, осколки, клубы пыли. Камера приближается, наезжает на выпавший айфон. Его экран, украшенный паутиной трещин, отражает единственное облачко, плывущее по синему-синему небу, и пролетающую на фоне облачка птицу. Конечно, это сокол, конечно, летит он на юг и, конечно, это символично. Вот только символом чего выступает сокол? А черт его знает.

Внутренний Игорь Кириллович находит сцену красивой, пусть и немного мутной. Зато зритель сам вложит свой смысл, одобряет продюсер.

Андрей засмеялся сквозь слезы. Левая нога словно одеревенела, и всякая попытка встать вызывала нестерпимую боль. Что ж, недели через две меня по запаху гниения найдут бродячие собаки, укажут на мой труп жителям поселка Водоотстой, и те предадут меня земле. Прямо вот тут, где я лежу-кряхчу сейчас, закидают суглинком и вколотят крест. Что напишут на кресте? На айфоне у меня вон наклейка «А.С.А.В.», она даст им подсказку. «А.С.А.В. 1989–2023», наугад поставят дату рождения и ошибутся всего на год. В Москве буду считаться пропавшим без вести.

Андрей услышал женский голос. На холм кто-то поднимался: звук постепенно становился громче. Девушка говорила по телефону. Переговорка среди могил, ничего себе.

«Помогите!» – крикнул он из своей умиральной ямы.

Девушка затихла и через полминуты подошла к нему. Он провел взглядом по ней снизу вверх: в закрытых коричневых туфлях, в длинном винтажном платье, какие легко найти в каких-нибудь берлинских сэкондах, если только получится добраться до Берлина – через Стамбул или Дубай, брютнетка, с собранными в косу волосами.

Ой, сказала она, увидев Андрея. Телефона в руках у нее не было, не было и наушников: похоже, она думала вслух. Вы как тут оказались? Зачем вам череп? Вы что, черный копатель?

Нет-нет, я сценарист, гуляю, ищу вдохновение. Простите, если напугал. Андрей отложил череп в сторону. Немного увлекся-задумался. Вы, кажется, тоже?

Девушка не ответила. Она рассматривала его, как сокол рассматривал левый берег Волги. Не упуская, видимо, ни одной детали.

Я, кажется, ногу повредил. Можете мне?

Да, да, конечно, засуетилась девушка, приподняла двумя руками подол платья и, неуклюже балансируя, спустилась в яму. Песок под ее ногами почти не шевелился, лишь край платья оставлял на нем мягкий веероподобный след. Как ваша нога? Вы можете идти?

Андрей угукнул. Он отметил про себя, как необычно она произнесла слово «идти»: звучало по-фольклорному «ить-ти». Ухватившись за крепкую, даже мозолистую руку девушки, он с третьей попытки сумел подняться. Теперь, приволакивая левую ногу, он брел с холма с девушкиной помощью. Та приговаривала по пути: осторожнее, так, тут чуть правее ступайте, тут на приступочек, добро, добро, почти дошли. Спускались не меньше десяти минут, пару раз Андрей заваливался на бок и хватался рукой за воздух, но сильная спутница тут же спасала его от неминуемого кувырка. Наконец дорога выровнялась, кладбище на возвышенности осталось позади.

Спасибо, спасибо вам, дальше я сам, тут недалеко остановка.

Вы потихонечку только, помаленечку. Вам Солёный пруд обогнуть – а там уж и шоссе, поймаете машину быстро.

Может, обменяемся с вами контактами? Телеграм?

Девушка засмеялась. Ну присылайте вашу телеграмму. Поселок Водоотстой, ул. Катальповая, дальний дом у холма. Жанне.

Вы такая смешная, Жанна! Ну как хотите. Спасибо – и до встречи!

Андрей развернулся к дороге и, стараясь почти не шагать на левую ногу, медленно потащился вперед. Вдруг Жанна крикнула ему вдогонку: «Унышлар телэп калам!» Андрей в недоумении развернулся. Девушка поднималась обратно на холм, легко и быстро, словно паря над могилами и крестами. Через какие-то полминуты она исчезла из виду, а над погостом пролетел сокол – наверное, недавний Андреев товарищ. Хм, ну ладно.

Волоча ноги к остановке автобуса и сжимая челюсти от укулов боли, он набирал сообщение Игорю Кирилловичу.

«Есть идея! Хтонь, мистика, мрачный нелюдим-ищейка – будет круче “Настоящего дестива”, 100%. Сеттинг в степи, в адскую жару. Завтра созвонимся, ок?»

Автобуса не было с четверть часа, и всё это время Андрей сидел на скамейке, глядя за Волгу. Там постепенно догорал пожар, а солнце за его спиной скатилось с зенита на более щадящую высоту. Над рекой кружил вертолет – вероятно, МЧСовский. К штанине прицепился репейник. Андрей осторожно снял его и положил в карман.

Вот это будет первый кадр. Ищейка-нелюдим выходит из густых травяных зарослей, в поту и с грязными разводами на лице, сдирает с брюк репейник – и бросает его вперед, прямо в зрителя. Начальные титры!

Евгений ВОЛКОВ

Сусальный ангел

все та же тьма в любом столетье хиджры –

и в закоулках личных тупиков

что есть резон чтобы отречься трижды
не дожидаясь первых петухов

на антресоли мира взвит антарес –

и ждут перины дома периньон

где сдаст мне угол менетекелфарес
и успокоит человек с ружьем

но труд пустой моментом в море выждать –

и заготовить на зиму корма

когда не спит в любом столетье хиджры
святая и вместительная тьма

где на кол дует тот кто наколдует –

любовь и смерть во времена холер

с прибором положив на ночь густую
и тучу пальцем пиханых гетер

где сказка ложь коль скоро есть подсказка –

идти толпой или дружить с ордой

Евгений Волков родился в 1962 году в Перми. Окончил Белорусский институт инженеров транспорта. Автор книг стихов «Погонщик рыб» («Нонпарель», 2017), «Тьмутараканятыму» («Издательство Евгения Степанова», 2019), «КолОкол» («Стеклограф», 2020), «Натюрморт» («Стеклограф», 2023). Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Смена», «Волга», «Интерпоззия», «Prosodia», «Зинзивер», «Дети Ра», «Эмигрантская лира», «Плавучий мост», «Зарубежные записки» и др. Живёт в Минске.

пока свежа сарматовая краска
и месяц в небе слишком молодой

и ангел мой отхватит по сусалам –

когда накормит басней соловья

чтобы со мною только не гуляла
душа шалунья девочка моя

на всякий случай круг очерчен мелом –

и страшный суд обставлен по фэн-шуй

где я торгую телом и хотелом
и к телу приобщаю поцелуй

и подвывая в небо черной пастью
лишь потому приемлю темноту –

что содрогаясь от избытка счастья
трепещут рыбы у тебя во рту...

Олегу Бабинову

умолкнет гул нездешних теорем –

лицо мое покроет вновь личиной

я есть никто рожденный быть никем
причудой садом тропкою осиною

и потому без права на потом –

копьем судьбы из неподкупной стали

я уходил рассветным кораблем
чтоб стать не тем кого всегда вы знали

и был всему единственным ключом –

огнем свечи и ароматом воска

водой в реке или её ручьем
и пылью на закате взвитой войском

и шелком развернувшихся знамен

и на доспехе капель крови свежей

у праха нет ни судеб ни имен
как нет сегодня завтра или прежде

вот только сам не ведая зачем
чеканил слово как свою монету –

я есть никто рожденный быть никем
и скоро буду призванным к ответу

мне оставаться снова без светил –

когда вокруг все алчущи и наги

кровь мертвых слов и высохших чернил
не сохранить следами на бумаге

мне ночь насквозь смотреть в глаза костра
покрытые предсмертною золою –

но ты со мной хотя бы до утра

хотя бы до утра побудь со мною

любовь моя нам имя легион –

нас не было и никогда не будет

и ты и я один и тот же сон
и нас никто с тобою не разбудит...

я спросил у ясеня –

что там впереди

когти у неясыти
длинные поди

я спросил у тополя
под моим окном –

долго до потопа ли
или подождем

по прекрасной площади
ходит волчья сыть –

что еще хорошего
я забыл спросить

может где любимая –

знаешь где она

окна чисто вымою
за окном война

ивы машут дредами –

на дворе темно

проданным и преданным
в общем все равно

в общем ничего себе –

остальное вам

мертвым и разбросанным
по чужим полям

дома тихо тонущим
лучше быть на дне –

мы с тобой чудовища

все они во мне

ломом подпоясаны
в небо ставят мост –

мужики с лампасами
да иисус христос

без имен и отчества
льют с небес дожди –

скоро все закончится

только очень жди

из огня и дыма я
выйду по воде –

ты моя любимая

родина ты где...

Медляк

вслепую собирая автомат
не сотвори себе кумирозданья –

давай бежать куда глаза глядят

давай скорей отсюда до свиданья

не зги не видно что там впереди –

но черт в цвету был рыжим и картавил
и почему-то самых честных правил

куда захочешь лошадю ходи

или беги –

ты знаешь почему

покачивая перьями на шляпах

пока пока не бьют по кочану
и не заткнули шваброй вместо кляпа

дрожит язык змеи двоичный код –
и смешивая водку с хлороформом
бог точно знает что он там несет
кому любовь кому-то просто порно
кому камшот кому тупой камрад
кому-то плохо спится в ночь глухую
где собирает автомат вслепую
слуга царю сам черт ему не брат
и в сердце вбить осиновый коллаж
в отдельную уходят ночь солдаты –
вслепую собирая автоматы
в калашный ряд засунув свой калаш
ложиться в землю дело молодых –
и драться до последнего патрона
у идолопоклонных гор святых
все выше к небу поднимая склоны
поэтому идут на ахерон –
смертями нашпигованные рати
пророчит хаос и конец времен
неугомонный жук медляк вещатель
и вдоль дороги в неподдельный ад
уже стоят мишени ростовые –
где по привычке вековой слепые
сидят и собирают автомат...

растаскивает город протоплазму –
сморкаясь в многоразовый платок
и на конечной стадии оргазма
дрожит троллейбус пропуская ток
выпархивают сладостные звуки –
из сквозняковых арочных пустот
и женщины протягивают руки
и голые выходят из пустот
их баснословно денежные знаки –
любого нахлобучивают нах
но я вдыхаю афродизиаки
и выдыхаю афродизиах
зияют нимбы в блеске пергидроля –
и в небе виснет месяц белозуб
и шарль де голль русалку алку голя
врывается ища губами губ
кого куда кому какое дело –
когда не видно доньшка и дна
в местах где тяга тела тяготела
и ночь была невнятна и нежна
а то что все беременно и бренно –
разрулит ночь и утренний стояк
пускай во сне испустит сок равенна
и упадет в ладоши доширак
и подымая солнце бурлаками –

наступит день до ужаса простой
где мечут недоношенные камни
гоплиты с ох увшей гопотой
и мой черед опять стоять меж ними –
среди готовых наглых и нагих
и силами последними своими
их всех любить и ненавидеть их...

они никто –
и мне на них никак
они стучатся в двери просто так
готовые балакать в балаклаве
о доблестях о подвигах о славе
не замечая крови на руках
они никто и потому они –
живут как могут сочиняя дни
и натошак взятяжку бедокурят
в уже привычной камере-обскуре
ложась под перекрестные огни
за годом год им суждено в веках –
угадывать судьбу на потрохах
готовить оливье и попуклету
и всех виновных призывать к ответу
в мертворожденных новых васюках

они никто и ты мой друг не ссы –
есть повод останавливать часы
они в гробу закупорив петрова
домой умчатся с криками готово
смотреть на прототипы колбасы
случайно ли но все идет к концу –
неважно чем им водят по лицу
и чем были наполнены сосуды
со скидками им предлагает цум
винтажные веревки от иуды
им если умирать то за владык –
в своих двадцатых и пороховых
и жить под разрубиновой звездой
давась своею простотой святою
они никто
я сам один из них
поэтому я их видал в гробу –
у них никто написано на лбу
и ждут героев дома их награды
пусть музыка и бранные обряды
гремят о них
войскам открыть пальбу...

накануне камнепада
жизнь моя идет по кругу –
дорогая выпьем яду

поглядим в глаза друг другу

поглядим в глаза друг другу
видит боже недалече –

активированный уголь

консервированный вечер

на краю вселенской лажи
окруженные врагами –

дорогая все мы ляжем

ляжем рядом дорогая

и утешимся немногим
потому что завтра канем –

в неба звездном каталоге
птолемеевых механик

нам обманываться нечем –

выйдет месяц вынет ножик

все что делает нас крепче
нас убьет немногим позже

обереги с берегами
не иначе бес попутал –

выпьем яду дорогая

зреют сумерки и смута

и летят с небес зарницы –

я хочу под встречным взглядом
умереть уснуть забыться

дорогая выпьем яду

и обнимемся за плечи

и опустимся на ложе
видит боже недалече
недалече видит боже
накануне камнепада
поглядим в глаза друг другу –
дорогая выпьем яду
жизнь моя идет по кругу...

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-29

В русском жанре – 89

”

Понял наконец, за что не люблю Белинского, когда вдруг подсчитал, что в «Физиологии Петербурга»¹ на двести сорок страниц десяти авторов приходится девяносто восемь его: Виссарион неистово не желал краткости.

”

Бандаранаике. Вряд ли ошибусь, что это слово никому неизвестно, разве что какой старик вроде меня, напрягшись, предположит: кажется, оно из политики прошлого века, вроде бы деятель с такой фамилией...

«*Сиримаво Ратватте Диас Бандаранаике (17апреля 1916 – 10 октября 2000) – премьер-министр Шри-Ланки в 1960–1965, 1970–1976, 1994–2000 годах; первая в мире женщина-премьер-министр*» (Википедия).

Советская пропаганда была замечательна своей полной безальтернативностью, когда единственным источником информации у нас были пять союзных и две местные газеты, а телевизоры появились в Саратове в 1957 году. Но кроме газет была *радиоточка* в образе коробки с динамиком, подключенной к сетевой розетке, откуда и шли новости, музыка, футбольные репортажи голосом Вадима Синявского², за которую взималась небольшая, но всё же плата.

Только из динамика на кухне и могло влететь мне в мозг, чтобы зачем-то там на всю жизнь застрять, слово *Бандаранаике*, хотя в СССР госпожа премьер не приезжала, и вряд ли так уж часто её упоминали в новостях. Вероятно, среагировал на небывалое сочетание звуков мой языковой слух, который, кажется, неплохо проявился за годы литературной работы.

Слово *радиоприёмник* теперь вовсе вышло из употребления. Эти аппараты требовали регистрации, у нас не было, пока брат не уговорил отца купить «Ригу-10»³. Тем удивительнее, что совсем рядом с нами обрелся радиоприёмник редкостного происхождения.

¹ Издание классического сборника у меня «Советская Россия», 1984.

² Рекомендую заглянуть в справку о Вадиме Святославовиче – не пожалеете.

³ Сейчас в Сеги: «Сетевой напольный ламповый радиоприемник “Рига-10”, радиозавод им. А.С. Попова, 1950-е, цена: 95 000 руб, СССР, Рига, размер: 60x31 см, выс. 89,3 см., вес 24 кг, металл, дерево, пластмасса, текстиль».

Про соседа по дому № 9 на улице Яблочкова, Женю Лифшица, я уже как-то рассказывал, как мой брат писал за него сочинение на экзаменах в московский стоматологический институт, причём с паспортом и фамилией по супруге Жени: Лифшиц-Бутылкин. А вот когда брат купил в Москве 21-ю «Волгу» у знаменитого художника и плейбоя Феликса-Льва Збарского, это устроил, конечно, Женя. И тогда, в пятидесятые, у него дома был огромный радиоприёмник с полным набором любых волн, с электрической стрелкой поисковика, но главное табличкой из потемневшего серебра с надписью: «Делегату XVIII съезда ВКП(б), Москва, 1939».

”

Когда старики уверяют, что во что-то там верили в смысле коммунизма, мне смешно, и вот для примера смешная картинка: на уроке литературы при теме «Поднятой целины» Илья Петрусенко вдруг громко сказал: «Люди зову партии идут», вызвав радостное веселье класса.

”

22 февраля 1916 года Блок написал П.С. Сухотину: *«Прочтите “Детство” Горького – независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего. Какая у него была бабушка!»*

У Александра Александровича дедами и дядьями были ректоры и губернаторы, а у Алексея Максимовича фабричные из солдат, лишь рано умерший отец сумел стать управляющим паровой конторой. Но браки писательских родителей, что у высокообразованных родовитых дворян, что у тёмных пьющих мещан, были несчастливые: ссоры, разводы, отчимы и т. п. И как обычно в таких семьях, дети тянутся к бабушкам.

Бабушка Блока *«Елизавета Григорьевна Бекетова (1834–1902) была переводчицей. В семье поддерживала интерес к литературе. Оказала влияние на становление художественных вкусов Блока»* (Википедия).

«Бабушка Горького Акулина Ивановна (1813–1887) заменила мальчику родителей» (Википедия).

Почему же Блок завидовал Горькому?

Сейчас проведу нескромную параллель, но что делать? Проведу.

Как-то я спросил друга моего, почему он так любит бывать у нас на Набережной, Илья объяснил: у вас не кричат и всегда пахнет кофе.

Чопорность своих родителей я уже как-то упоминал, но только сейчас осмелюсь вывести, что в крике Илюшиного деда, глухого еврейского парикмахера, было куда больше настоящего, чем в ласковых словах моего отца «Машенька, позволь же мне помыть посуду», когда мама про себя заворчала: «Взял бы да помыл молча».

Описывая то наше далёкое, ловлю себя на мысли, что хоть и завидовал другу, но почему-то досады не чувствовал. Даже и в сексе, где он, казалось, недостижимо был впереди. Правда, обычно плетясь по чужим событиям, здесь неожиданно для всех участников и очевидцев вдруг опередил его, получив благосклонность девушки, за которой он долго ухаживал, а я вскоре и женился.

Не возникла зависть, и когда он придумывал сложнейшие многоходовые операции вроде того, как уговорил Ларису С., бывшую уже, как и он сам, в браке, отправиться в круиз на

знаменитом лайнере «Адмирал Нахимов»¹. Я же не только не умел организовать секс, но чаще от него и отказывался, когда само, т.е. сама, шло в руки, потому что заранее, как Беликову, было неловко: *как бы чего-нибудь не вышло...*

Желаю рассказать о Ларисе, уж очень сильно любил её мой друг, чего я не испытал, а его чувство воспринимал с удивлением. Были мы нараспашку откровенны, а уж по правде, так он. И сокрушенно поведал, что сила его чувства печально сказалась на силе его члена, что вызывало неудовольствие подруги, объяснившей в прямых словах, что согласилась на поездку для траханья, а не наслажденья морским пейзажем или меню палубного бара.

В Ларисе была заметна сила, не спрятанная в разговоре. И не то чтобы, к примеру, она матюкалась, что было в моде у продвинутых интеллектуалок, просто начисто отсутствовали такие женские особенности как жеманство, кокетство, загадочность, иносказания и какая бы то ни было стеснительность. Ей было не до того, чтобы притворяться, на уме было две вещи: секс и карьера, или наоборот. Замечательная была женщина, и сейчас из стариковской высоты я отчетливо сознаю, что редчайшая, которую не в состоянии не то что сломать, но сколько-нибудь изменить даже и губительные жизненные обстоятельства, как было – хочу именно этот пример – с Татьяной Окуневской. Над ними безвластен и главный женский враг – возраст.

В те годы в Саратове было несколько очень авторитетных высокопоставленных врачей-женщин со сходными биографиями. Назову их. Г.Н. Захарова, Т.Н. Куницына, А.Е. Суомовская, А.П. Спирина, Г.М. Славкина. Эти главврачи и завкафедрами, закончив в начале войны Саратовский мединститут, отправились на фронт, были многократно награждены, имели железную волю и детей без отцов. Лариса была приёмной дочерью одной из них, и как полагаю, продолжила её жизненные принципы.

Нет, всё же прав был Сергей Семанов, когда, выпив, умилённо повторял: «В какое замечательное время мы живём, господа!»

””

На альбомы репродукций меня подсадил Илья. То есть в нашем доме, где книги были куплены отцом, их не было точно, кроме папки с листами репродукций работ Ивана Шишкина, подаренной отцу в 1954 году на юбилей. Отец не страдал книгоприобретательством, как многие, да потом и я не без Илюшкиного примера. Сколько людей в наши дни обводит недоумённым взглядом заполненные полки книг с одной мыслью: к чему же я всё это купил? Но сколько из них могут хотя бы себе признаться, что не прочитали купленного... Да чего там – перевернутого времени не оживить, разве что какая-то глобальная перестройка общества вновь сделает так, что нужны окажутся и печатные книги.

В книжном вопросе была у отца одна слабость: путешествия. Альбомы он покупал с фото заморских стран и столиц, и еще дневники и записки стародавних путешественников Колумба и Миклухо-Маклая, Ливингстона и Лазарева, которые, разумеется, не читал по полной невозможности проглотить эти учёные издания географического общества.

¹ «Адмирал Нахимов» (до 1947 года – «Берлин» (нем. Berlin)) – советский (ранее – германский) пассажирский пароход. В течение 29 лет совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской линии. 31 августа 1986 года в 23:12 потерпел крушение в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега. Погибли 423 из 1234 человек.

С Илюшей мы не так уж редко бывали в Радищевском музее, где рассматривали натюр-морты, находя в них более признаков времён и стран, чем в портретах или исторической живописи, которую я не люблю, как вот и бесперебойно сейчас рождающиеся исторические сериалы.

И вот как-то друг мой заинтересовал меня, показав небольшой альбом с репродукциями натюрмортов¹. Я был поражён уровнем полиграфии и репродукций, и тканевого переплёта, в общем всего, так как в доме таких изданий ещё не бывало. А Илья рассказал про новое питерское издательство «Аврора» и пр. Когда же я поступил в редакцию «Волги», там работал Валентин Евграфов, художник и книгоман, собирающий серию «Жизнь в искусстве», и пошло-поехало лет на двадцать, так что и старого папашу подзаразил.

Что было, то было, и когда переезжали в деревню, я многие книги передал неугомонному книгоману Голицыну, а тысячи две из бывших пяти заставил сына перевезти, и сейчас в моей комнате книжные стены.

””

Я неравнодушен к книжной иллюстрации и довольно много знаю виденного в прошлые, особенно детские, годы. Когда сейчас случается войти в эту тему, увлекаюсь, как в очерке о Николае Кузьмине, но сейчас о двух производителях, что рисовали картинки к собраниям сочинений «*Конан Дойла, Синклера Льюиса, Теодора Драйзера, Тютчева, Вересаева, Мамина-Сибиряка и др.*» и это один, а второй «*занимался иллюстрированием произведений таких авторов как Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. А. Шолохов, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Б. Л. Васильев, Оноре де Бальзак, Ги де Мопассан, В. Гюго, Джек Лондон, Джонатан Свифт, Т. Драйзер, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк*».

Петр Яковлевич Караченцов² (1907–1998) и Пётр Наумович Пинкисевич (1925–2004) оба с беспредельным размахом иллюстративных возможностей, начинали восхождение со студии военных художников имени Грекова. Правда, для справедливости скажем, что Караченцов и старше, и чуть оригинальней в решениях, и всё же то, что Пётр Яковлевич и Пётр Наумович держали монополию на иллюстрации в журнале «Огонёк», было не столь убийственно для читателей журнала, где это были романы Юрия Бондарева, Николая Асанова и т.п., как та же монополия на иллюстрации к собраниям сочинений, которые в виде приложения выпускались 24-ю томами ежегодно.

Я живо помню, как получая на почте очередной том, заглядывал в надежде, что не один или другой, а иной художник преподнесёт своё видение текста. Или, что лучше всего, классические картинки Боклевского, Пастернака, Верейского.

””

Было время, и я нередко печатался в «Новом мире». Справлюсь в собственноручной библиографии, которая стала мне всё чаще пригождаться.

В русском жанре – 6, Новый мир, 1995, №1

В русском жанре – 14, Новый мир, 1998, №7

¹ Натюрморт в русской и советской живописи | Пушкирев Василий Алексеевич, Пружан Ирина Николаевна; Издательство: Аврора; Год выпуска: 1970. Цена в 2024 году 5064 р.

² Отец актёра Николая Караченцова.

- Рецензия на книгу М.Палей «Месторождение ветра», Новый мир, 1998, №12
 В русском жанре – 15, Новый мир, 1999, №9
 В русском жанре – 18, Новый мир, 2000, №10
 Рецензия на книгу Е. Гришковца, Новый мир, 2002, №1
 «Служители русского эроса», Новый мир, 2002, №4
 «Над головой толклись комарики», Новый мир, 2002, №7
 В русском жанре – 23, Новый мир, 2002, №11
 «Сорок лет вместе», Новый мир, 2005, №1
 В русском жанре – 29, Новый мир, 2005, №9
 «Повесть о настоящем человеке», Новый мир, 2006, №4
 В русском жанре – 31, Новый мир, 2007, №3
 В русском жанре – 33, Новый мир, 2007, № 8
 В русском жанре – 40, Новый мир, 2011, №3
 «На крыльчке вдвоём», Новый мир, 2012, № 2
 В русском жанре – 44, Новый мир, 2012, № 7
 Рец. на кн.: Сергей Чупринин. «Русская литература сегодня», Новый мир, 2012, № 9
 В русском жанре – 47, Новый мир, 2014, № 1
 В русском жанре – 49, Новый мир, 2015, № 1

Как видим, в основном русский жанр, всего двенадцать глав. Иногда рецензии по предложению редакции, как на книги Марины Палей, Евгения Гришковца, Сергея Чуприна, на переиздание 1-й редакции романа «Хождение по мукам», а порой и по желанию автора, как о впервые прочитанной мной прозе Алёны Холмогоровой, неожиданно храброй и очень находчивой в слове.

Видно, что я не одним «жанром» баловался и перестал в этом журнале, когда оттуда ушла великолепная И.Б. Роднянская. А свой безостановочный «русский жанр» больше не предлагал из-за смешной вроде, но крайне вредившей текстам ненависти главного редактора к разделительным знакам в пробелах. Когда я узнал, что главред Василевский просто их запрещает ставить, то подумал: а вдруг этот симпатичный парень невзлюбит какую-нибудь букву русского алфавита, а?

””

Пресловутое *чувство юмора*, которым обладают, по собственным признаниям, чуть ли не все наши граждане и гражданки, в реальности встречается ещё реже, чем музыкальный слух. Ведь обычно под чувством юмора понимается лишь способность воспринимать юмор, цитировать на память текст или рассказывать анекдоты. А вот создавать юмор сразу и как бы из ничего редко кто может. Таким был Володя Глейзер.

Как-то довольно ранним апрельским утром я зашёл в большую столовую на углу Московской и Октябрьской, чтобы выпить там для облегчения души и тела, а выпив, возжелал общения и, сидя в садике у памятника первой учительнице, набрал друга Вову и услышал: «Что, корову уже подоил?»

Александр МАРКОВ, Оксана ШТАЙН

КАЙНОГРАФИЯ: БОРИС ОСТАНИН КАК ФИЛОСОФ

Борис Останин (1946–2023)¹ был человеком-манифестом. Манифестарность, открытость всегда сопровождала его, даже когда он делал что-то техническое. Последний его труд, конспект-словарь «Догадки о Набокове» – изощренная техника сопоставления слов, фраз, фигур, но и целых пластов и периодов творчества писателя. При всей как будто игровой природе этого труда, в нем самое главное – спор с любой тенью монументальности в набоковедении, допущением, будто Набоков был просто неким совершенным и пестующим свое совершенство писателем. Таков яростный выпад против китчевого образа Набокова, при этом невероятно учтивый к тому особому жару вдохновения, обжигу, из которого выходят вместе с новыми понятиями и словами новые миры. Из «бледного пламени» рождается жар-птица, почти Стравинский, или шахматная доска с бледными клетками, предутренний туман, скользящие гласные, скатывающиеся с горки русского языка на начищенный пол воспоминаний, и многое другое.

Останин развивал *новый метод* анализа литературных произведений, ссылаясь на упомянутый Платоном *экономический* метод – установление правильности имен. Реальность интендирует к вербальному обозначению, именованию. Человек тогда начинает и продолжает как теург: «Сущность человека покоится в языке», – говорил Хайдеггер². Язык взыскует такого продолжения, потому что он не производный результат, но деятельность, процесс, гумбольдтовская *энергия*. Человек, чья профессия – писатель, публицист, критик, эссеист, такой процесс возводит в кратную степень. Он рас-сказывает, сказывает нам о мире снов/реальности. С-казывает, по-казывает, объявляет – являет, дает увидеть и услышать мир. Борис Останин определяет язык как анатомическую структуру: «Согласные языка – его материнские кости, гласные – отцовское дыхание»³.

Петр Казарновский вспомнил недавно о противостоянии Останина и Эрля, двух великих монстров филологической «второй культуры». «Мне было известно неприятие Останина, которое проповедовал Вл. Эрль. В такой форме отношения я как-то не смел разбираться, чувствуя какую-то интимность этой вражды. Помню публичный выплеск Хеленукта-текстолога в адрес оппонента, когда вся публика напряглась»⁴. *Хеленуктизм* Эрля основан на особом археографическом внимании, к любому листку архива, к артефактам. Это, можно

¹ Часть статьи была представлена А.В. Марковым как доклад на Одиннадцатой международной конференции «Музыка – Философия – Культура», Московская государственная консерватория, Москва, 21 мая 2024 г. как один из докладов по проекту РНФ № 24-18-00248 «“Антиномическая поэтика” русского символизма: современные концепции и практики анализа» (выполняется в ИМЛИ РАН, рук. С.В. Федотова).

² Хайдеггер М. Путь к языку / пер В.В. Бибихина // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 259.

³ Останин Б. 37,1. СПб.: ООО «Торгово-издательский дом “Амфора”», 2015. С. 22.

⁴ Казарновский П. Непрерывный пунктир (об Останине Борисе) // Новое литературное обозрение. 2024. № 2 (186). С. 255.

сказать, ритмичное проживание архива, с постоянными синкопами, прерывающими на реальность. Эрль увлекает, Останин вдохновляет. Мы бы назвали метод Останина не *археографией*, а *кайнографией*, по аналогии с кайнозоом. Это метод описания всего случившегося как новизны, заглядывание в зазеркалье хайдеггеровского события бытия.

В построениях Хайдеггера глагол «быть», инфинитив привычного «есть», превращается в имя «бытие», возвращает в свою собственную сущность. Останин динамичнее и случайнее, он любил не только возвращение, но и прорыв к неизвестному. У Останина «случай это со-брасывание, сметание, сближение»¹ людей, комет, машин, планет, так видим мы в тексте-календаре «37,1» – с(о)-брасывание, сметание и сближение цитат, историй, имен и персонажей, стран и эпох. Текст случился. Книга стала не только календарем нашего будущего, но и диагностировала среднестатистическую температуру по больнице. Она оказалась тоже среднестатистической, так называемой субфебрильной, когда человек не болен, но и не здоров.

Состояние между, состояние на границе, состояние кого? Общества? Истории? Измерить температуру телу современности, скажем смело – все равно что прикоснуться критической ртутью к коже современного общества. Но здесь сразу сошлемся на применение Останиным метода *топографической рефлексии* – «отношение к миру как к продолжению кожи»². Так от мечал включенность и благодарил Бориса Останина профессор СПбГУ Валерий Владимирович Савчук в предисловии к книге «Забор как равновесие сил»³. «Россыпь идей и интуиций ко волнующей нас обеих теме»⁴ – теме продолжения коллективного тела в заборе или коже. Попытаться измерить температуру социального современного тела – значит диагностировать состояние в виде каких-то данных. И если забор Савчука – некая мембрана, показывающая все важнейшие данные, то кожа коллективного тела Останина – *натяжение смыслов* на поверхности его текстов, сопрягающее различные и разнородные данные.

Сергей Завьялов вспоминает, что Останин приветствовал и неконформистов-позитивистов из числа антиковедов, ненавистников структурализма и апологетов канонической науки о древностях: «Останину, при всем его недоверии к позитивизму, такая атака на то, что не критически вошло в моду, была симпатична»⁵. Эти неопозитивисты называли структурализм «кайнофилологией», думая тем самым, что они опровергают его новизну – это не «нео-» изменения предмета, но какая-то странная новизна метода. Как раз Останин, отвергая новизну метода ради метода, мог объединиться с ними для критики «кайнофилологии», но кайнографии своей никогда не оставлял.

В сравнении с такой кайнографией многие обычные историко-философские построения звучат одновременно неуклюже и вызывающе, они присваивают настоящее. Вот, блестящий историк науки А.В. Ахутин объясняет непереводаемость понятия «усия» у Аристотеля, что это и сущность, и существование, и существо. Но обосновать «усию» он не может без обращения к хайдеггеровской или бахтинской проблематике. «“Усия” это не идеальная сущность, а, напротив, некое самостоятельно ведущееся “хозяйство” – дома, города или мира – живое “существо”, единственное или единичное, мыслимое в полноте своего бытия»⁶. Дом

¹ Останин Б. 37,1. С. 9.

² Савчук В.В. Забор как равновесие сил. – СПб.: Академическое исследование культуры, 2022. С. 14.

³ Там же. С. 8.

⁴ Там же.

⁵ Завьялов С. Бог молчит. Помолчим и мы // Новое литературное обозрение. 2024. № 2 (186). С. 262.

⁶ Ахутин А.В. Омонимия в переводе философских понятий // ESSE: Философские и теологические ис-

бытия, полнота бытия – совсем это не про Аристотеля, не про метека-богача, создавшего элитную школу в Афинах, консультанта великого императора, видевшего полноту бытия только в практическом благородстве, а не в той «усии», которую он показывает ученикам как пример. Ахутин предпочел не переводить слово усия, оставить грецизм там, где должна была бы развернуться русская философия и где требуется новая запись, *вторая запись* (как назвал Одиссеас Элитис свою книгу переводов).

Тогда как кайнография, наоборот, исходит из того, что письмо всегда написано кому-то, что культура *дописывается*, когда ученики узнают об усии, названной совсем по-новому. Когда мы читаем Набокова, мы доигрываем некоторые шахматные партии, и они доигрываются в самой реальности. Параджанов только и делает персидскую миниатюру тем, что она есть.

Останин, переводчик в том числе Кастанеды, понимал, что и мистификации Кастанеды, неверного ученика Гарольда Гарфинкеля, тоже довершают антропологию, делая ее более узнаваемой. Гарфинкель разрабатывал гарфинкелинги, провокационные подрывы привычных рамок социального взаимодействия (например, набирать в супермаркете продукты не с полок, а из корзинок других покупателей, или пытаться купить газету у читающего ее полицейского), тогда как Кастанеда сделал гарфинкелинг главным событием бытия.

Написанная в 1970-е книга Бориса Останина «Пунктиры»¹ построена как «Опавшие листья» Розанова, только не «короба», а избранное из тетрадей. Это другой конструктивный принцип, не собирание своей личности из случайных ее проявлений, не постоянное довершение облика, не движение от поверхности к бесповоротной проникновенности, но напротив, постоянная критика своей многослойности, своей чувствительности, своего резонанса в отношении других культур. Это опыт особых выписок, которые не столько создают систему эмоциональных реакций, сколько показывают невозможность некоторых из таких эмоциональных реакций.

Тематически книга шире, чем ее розановские прообразы. Розанов мыслил по большей части линейно, как наблюдатель или путешественник, выстраивая мысль вдоль линии: трактата, путешествия, вообще состоятельности человека подвижного. Биbihин в своих лекциях и статьях понимал захваченность Розанова как разовую, как мгновенную состоятельность, как умное делание². Тогда как Останин мыслил всегда, переключаясь от одной реальности к другой: от сновидческой к предполагаемой, от идеализируемой к реализуемой, – и в этих переключениях и создавал смысл. *Вяние свободы* Останина как раз в том, что ни одну из этих реальностей нельзя объявить привилегированной, потому что суждение сразу потребует переключения и к другой реальности и вежливого почтения к ее смыслу.

Отсюда нелюбовь к Риму, который объявляет привилегированным выражение, а не смысл. В ней Останин неожиданно сходится с тем сопоставлением гладиаторских боев и римской поэзии, которое примерно тогда же, совсем независимо от Останина, предпринял А.Ф. Лосев³:

следования. 2018. Том 3. № 1. С. 10.

¹ Останин Б. Пунктиры. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000. 174 с. Далее цитируется с указанием страницы в скобках.

² Биbihин В.В. Время читать Розанова // Розанов В.В. О понимании. М.: Танаис, 1996. С. XVIII: «Через головы поколений, переставших на свою беду бояться огня, Розанов приближается к нам в трезвом знании постоянного присутствия среди нас сил сильнее нас».

³ Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. М.: МГУ, 1978. С. 27: «Мы уже говорили выше, что Рим натуралистичен. Натурализм, равно как и психологизм, равно как и страсть к декоративности, вытекает

Римская поэзия – риторика и дидактика... и вообще странное желание сказать «стихом» то, что можно сказать простым словом. (32)

Кто такие римляне, в конце концов? Солдафоны и театралы. (94)

Рим (конечно, не исторический, а воображаемый Рим эссеиста) – это плоская цивилизация, но ход не к цветущей сложности, а к еще большей плоскости. В конце концов, для Останина плоскость начинается там, где возникает линейное написание истории, археография как простое прозаическое письмо, простой учет дел, и он уже нападает не только на Рим, но и на Грецию. Геродот – образ линейного изложения истории, необратимости, когда почему-то один поступок (в том числе поступок письма) выстраивает за собой подчиненную вереницу нескольких. Отсюда его лозунги, направленные против линейного рационализма. Трансгрессия Спарты и оказывается судьбой Европы, ее настоящим, тогда как будущим будет анти-солипсизм: принятие другого с его необычным взглядом:

Забывать Геродота (не только Герострата)! (33)

Анти-солипсизм: существуют *только другие*. (36)

Люди – столь бездарные актёры, что и Бог, и дьявол давно покинули «мировой театр», не досмотрев пьесы до конца. (145)

Афины мало чему научили Европу, зато успех Спарты здесь несомненен. (133)

Останин пестует этот необычный взгляд, видя и в Европе женскую душу восприятия. Империи проходят, а это пестование нового, кайнография взгляда остается:

История Европы как переход от глаза-пальца (Греция) к глазу-уху (христианство) и глазу-взгляду (Возрождение). (38)

Голубое небо, синие тени, яркое солнце... Ну какое, казалось бы, мне дело до падения Византийской империи? (44)

Европу погубило многословие – сначала Гомера, затем Сократа. Отвратив от себя музыку, оно подменило её словом. Даже перевод Евангелия намеренно неточен: В начале было Слово... (138)

Как и Деррида, который критиковал монополию письменного свидетельства, *подписи*, так и Останин видел в этой монополии тавтологию, которая превращает историю-как-падение в простой археографический текст. Тогда как кайнография требует увидеть это падение, выпавшее, судьбу, шанс, принять как дело, вовлечься в какое-то дело, увлечься им. Кайнография – это когда ты не просто задед, но задеваешь что-то, при этом аккуратно. *Скорее ты сам упадешь, чем дашь чему-то упасть*.

В книге Останина появляется Восток, противостоящий линейности археографии. Напротив, Восток всегда отделяет себя от подписи, от описания, чтобы стать историей:

От Греции нам достались римские копии статуй, расколотые на куски.

сам собою из общей позиции абстрактной единичности, или субъективизма. Это один из наиболее частных аспектов римского чувства красоты. С наибольшей силой он сказался в указанных видах римских зрелищ».

Индия сохранила свою скульптуру целой. (51)

История как раз там, где нет этой риторико-поэтической линейности:

В многоруких и многоголовых индийских богах указано не столько движение мира, сколько его принципиальная «многотелость». (101)

Мужчина – мыслящий тростник, женщина – сахарный. (Там же)

Судьбы А. Бенуа и Н. Рериха показательны как эпигонско-эмигрантское завершение раскола русской мысли на западную и восточную. (124)

При этом, конечно, Останин переживал чувственно любое умножение: где множатся вещи, там множатся буквы. Где же вещь остается одинокой, как шпиль, там можно только поминать. Подпись остается надписью на могиле:

Во Франции *много* вина, и потому много поэтов.

В Германии *мало* вина, и потому много поэтов. (63)

Византийский купол – обитель Эроса;
готический шпиль – Танатоса. (91)

Округлость купола-соска соединяет прозу и поэзию. На прозу Останин всегда смотрел со стороны читательской, а на поэзию – со стороны автора. Проза для него складывалась как опыт читателя, постоянно подстерегающий, лукавящий и *не дающий* необычному поэтическому взгляду состояться, стать настоящим событием, обрести настоящую округлость бытийного переживания. Тогда как поэзия сбывается у него как *первый набросок*, набрасывание, меткость которого раскрывается только когда не ницшеанская лишь стрела, но розановская петля собственной судьбы летит вперед и захватывает предмет, которому расхотелось быть *только предметом*.

ЛЕВ ОБОРИН

«У МЕНЯ КНИГИ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ЕЖЕЙ»

Беседовал Борис Кутенков

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла 568-страничная «Книга отзывов и предисловий» – собрание статей и рецензий поэта и литературного критика Льва Оборина.

В интервью «Волге» Оборин рассказал о том, как готовилась книга, и некоторых лайфхаках по написанию рецензии; об «экспериментальном» тексте книги, посвящённом поп-поэзии; о трансформации толстожурнального поля и о том, почему молодые авторы не интегрируются в него; о книжной цензуре и о советах, которые можно дать библиотекарям.

Борис Кутенков: *Лев, вы говорите в предисловии к книге о том, что после 24 февраля 2022 года сменилась историческая эпоха и, соответственно, поэтическая. Однако большинство героев ваших статей сейчас воспринимаются как безусловные фигуры: от Олега Чухонцева до Марии Степановой, от Михаила Гронаса до Игоря Булатовского. Действительно ли два прошедших года изменили поэтическую ситуацию?*

Лев Оборин: Мне кажется, что изменили сильно, но, конечно, смена исторической эпохи выглядит более травматично, чем смена поэтической. Книги авторов, которых вы упомянули, относятся к уже завершившемуся историческому времени. Ни Гронас, ни Степанова, ни тем более Чухонцев пока не выпустили поэтических книг за это время – а вот Булатовский как раз очень активно включился в осмысление, если можно так выразиться, общественного метафизического климата: его новая книга «Аврам-трава» и особенно цикл «На конце языка» ставит его в ряд важнейших авторов, преодолевающих немоту культуры в нынешних позорных условиях. Поэзия, тем временем, начинает действительно строиться на каких-то новых основаниях – это связано и со сломом литературной конфигурации, и просто со сменой поколений.

Б.К.: *Вы активно следите и за «молодым» поэтическим процессом. В том числе пишете в книге о дебютном сборнике Ростислава Ярцева. Расскажите, что характерно для новых авторов? Как происходит сейчас их интеграция в литпроцесс?*

Л.О.: Я на самом деле не так часто их затрагиваю, как следовало бы. В последние годы вышло несколько заметных книг авторов поколения условно нынешних двадцатилетних, в которых я пока мало что понимаю, и нужно ещё в них разбираться. Это авторы активно формирующиеся и уже заявляющие о себе в новой эпохе – в том числе цензурной, в том числе медиальной, уходящих от того традиционного формата, к которому мы привыкли; тут и Аристарх Месропян, и Нико Железничков, и Софья Суркова, и Варвара Недеогло, и Дорджи Джальджиреев, и Влад Гагин. Ярцев тут скорее с консервативного фланга. Каких-то авторов мы увидим скорее в зинах, в сетевом «Альманахе-огонь», а не в традиционных толстых журналах, а это значит, что они не соотносятся с этим контекстом.

Б.К.: *Сразу хочется спросить, а что значит «не соотносятся»? Почему условно самиздатские площадки кажутся им более подходящими?*

Л.О.: Я не могу залезть в их головы. Полагаю, внимание именно к медиальности за пределами бумажного листа, которую толстый журнал воспроизвести не в состоянии, как раз и обуславливает отказ от публикации там. А кроме того, речь идёт и о способах самоорганизации, о способах заявить о себе. Такие заявления заметнее всего, когда делаются в групповом порядке и на собственных площадках. В этом смысле и журнал «Таволга», и «журнал на коленке», и «Альманах-огонь», и только что запустившийся «Хлам» с его строгой исследовательско-тематической ориентацией, – это способы разговора с чистого листа, с привлечением современных средств презентаций текста. Насколько я понимаю, это вещи очень сильно поколенческие. По-моему, старше Владимира Коркунова, крайне заинтересованного в актуальной медиальности, авторов в «Хламе» нет.

Б.К.: *Какие из этих изданий вам наиболее симпатичны? «Таволга», «Флаги», «журнал на коленке», «Всеализм», «изъян», “rosamundi”, «Пролиткульт», упомянутый вами «Хлам»... Наверняка мы что-то забыли. «Кварту», наверное, в этот ряд не включаем, потому что это проект не поколенческий?*

Л.О.: «Кварту» я бы включил, потому что Валерий Шубинский, как и покойный Богдан Агрис, интересуется флангом новых метареалистов поколения 20+, они у них печатались и продолжают печататься. «Флаги» – самый состоявшийся из этих проектов; он во многом запустил интерес к новой метареалистической изобразительности. Мне очень интересно то, что они делают, в том числе культуртрегерские проекты: издательские программы, тематические номера. Я ещё не успел прочитать последний, скандинавский номер, но и имена переводчиков, и подбор авторов вызывают доверие. Про тот же “rosamundi” я слышал, но толком посмотреть не успел. «журнал на коленке» мне нравится своей установкой на импровизационность и стихийную собираемость. Мне вспоминается журнал «Лесная газета», который делал Илья Долгов и другие коллеги. Такая проектность и экологичность (и на уровне тематики, и на уровне репрезентации материала) – то, чего мне как раз не хватает. Может быть, «Хлам» мог бы стать таким проектом, хотя его эстетика его абсолютно другая и вышел пока только один номер. Та же «Таволга» с названиями растений, которые они «назначают» поэтам, – более искусственная история.

Б.К.: *Как бы вы уточнили понятие «молодой автор»?*

Л.О.: Молодые – это те, кому 17-18-20. Их постоянно хочется читать, но где их читать – не очень понятно: Фейсбука* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией. – *Прим. ред.*) у многих из них уже нет – и не по цензурным соображениям, а потому что эта площадка уже их не привлекает. Можно отлавливать их в телеграм-каналах, но они все называются как-то хитро, мало кто называет каналы своими именами. Так что этот гэп, их непредставленность в поточном ленточном чтении – вещь, которая меня как критика беспокоит. Хочется видеть эти тексты в моменте их создания и реагировать на них сразу. Понятно, что хочется разобраться в поэтиках поколения двадцатилетних и побольше о нем писать. Думаю, когда будут выходить книги, это само собой получится.

Б.К.: *Вы долго шли к своей книге статей. Почему решили издать её именно сейчас? Именно подведение промежуточных итогов эпохи, о которых вы пишете в предисловии, потребовало собрать тексты разных лет под одну обложку?*

Л.О.: В каком-то смысле да. А еще у меня возникло в какой-то момент непонимание, о чём писать дальше, какие книги достойны внимания, как обращаться с ними. Мы с вами знаем, как сильно зацензурировалось пространство российских публикаций. Все это заставило меня посмотреть на то, что уже было сделано. Так что в новогодние каникулы я собрал все эти тексты, и получилась книга.

Б.К.: *Вы упомянули про цензуру – хочется заметить, что вчера зашёл в районную библиотеку, которую посещаю с детства, собирался взять перечитать «Это я, Эдичка» и увидел, что убрали уже и Лимонова. До недавнего времени эта цензура распространялась только на книги «иноагентов», а теперь добралась и до покойных. А есть ли книжная цензура в США? Если да, какого она свойства?*

Л.О.: Америка в этом отношении не централизована. В разных штатах политики проводят свои законы и лоббируют свои интересы и моральные соображения. Есть более консервативные штаты и менее консервативные. Но в Америке о книжных запретах, распространяемых на уровне школ и библиотек, трубят во все концы, об этом очень активно пишут, магазины устраивают у себя разделы книг вроде «Книги, которые вам запрещают прочитать», «Неделя запрещённых книг». Устраивают акции против запретов книг в школах – причём там часто пытаются запрещать и классику, по тем же моралистическим основаниям, по которым это бывает в России: мол, там про секс, про ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и террористическим. – Прим. ред.), там есть нехорошие слова – причём речь не о цензуровании обценной лексики, а о гиперкоррекции расистских проявлений прошлого.

То есть цензура в Америке не идёт совсем сверху, это неоднородный процесс. И о нём много говорят. Нет такого, что ты пришел в книжный магазин, а твоего любимого автора сняли с продажи, и в «Амазоне» его тоже нет. А у нас эту проблему вместе с книгами стараются замести под ковёр. И все мы сочувствуем издательствам, которые вынуждены с этим соглашаться. Но, видимо, давление настолько велико и люди настолько подавлены и настолько устали от репрессий, что громких протестов в связи с этим уже не наблюдается. Ну и вообще, когда идёт война, запрет на книжку оказывается на втором месте.

Б.К.: *На самом деле то, что вы описываете, отчасти похоже на ситуацию в России, здесь тоже нельзя это устройство назвать централизованным. Где-то за пределами Москвы вы легко можете увидеть полку с книгами Быкова*. (Дмитрий Быков признан Минюстом РФ иноагентом. – Прим. ред.) В провинции вообще легче. Хотя после недавнего запрета на выдачу в библиотеках книг «иноагентов» (в Москве их и так, без законопроекта, не выдают уже давно), думаю, будет сложнее.*

Л.О.: Быков* в одном из недавних интервью сказал, что «Россия рыхлая», есть где спрятаться. Поэтому найти место, где эти книги можно будет спокойно брать, я думаю, получится всегда.

Б.К.: *Недавно на своей странице в соцсети вы призвали сотрудников издательств и книжных магазинов не сжигать книги, по поводу которых приходит приказ утилизировать, а собирать личные библиотеки. Этот призыв реально можно воплотить в жизнь? Знаете ли вы подобные героические примеры? Чувствуете ли возможность объединения в этом смысле – или каждому придётся действовать поодиночке?*

Л.О.: Это просто естественная мысль: если книгу списали, библиотека её больше не видит и считает, что её можно уничтожить, то почему бы не взять эту книгу себе и не спасти её для себя и для будущего? Я не очень много общаюсь с библиотекарями, не очень много их знаю – но думаю, что так всегда делали и будут делать. Это риторический призыв. Если кто-то об этом до сих пор не задумался, пускай задумается.

Б.К.: *С изменением литературного климата изменился и круг изданий, в которых хочется и не хочется печататься. Вы наверняка пересмотрели для себя вопрос публикаций, расскажите об этом. Как в связи с этим меняется аудитория?*

Л.О.: Когда возник журнал Линор Горалик* (признана Минюстом РФ иностранным агентом. – *Прим. ред.*) ROAR и она мне предложила отдать туда стихи, я сразу согласился. Тексты в какие-то места, кроме «Горького» и «Воздуха», я предлагаю редко, хотя вот для «Кварты» я написал статью о поэтике Виктора Кривулина – просто потому, что мне захотелось о нём написать, и потому, что Валерий Шубинский мне это предложил. А в следующем номере «Кварты» вышли мои стихи.

Б.К.: *В предисловии говорится об эволюции поэтического поля. А что думаете о том, как изменился толстожурнальный процесс?*

Л.О.: Ну вот «Новый мир» просто выкинул имена авторов-«иноагентов» со своего сайта. Не знаю, отправились ли они в архив с ножницами, но никаких хороших мыслей и чувств это не вызывает. Какие-то коллеги в условиях цензуры совершают чудеса мужества и благородства – не хочется сейчас называть имена, чтобы их не подставлять. Понятно, что в несвободной стране и литературное поле тоже становится несвободным, к сожалению. Людьюми, которые в этих условиях идут на риск, я могу только восхищаться.

Б.К.: *Кто для вас сейчас является ориентирами в критике – среди русскоязычных и не только авторов литературного пространства? Интересно узнать не только о классиках, но и о современных.*

Л.О.: Я читаю по своему любопытству и самовольно взятым на себя обязанностям очень много. Какие-то имена меня восхищают и продолжают восхищать – например, Игорь Гулин, с которым мы когда-то были сооснователями премии «Различие». Он по-прежнему один из самых тонких критиков, пишущих о книгах. Жаль, что Анна Наринская* (признана Минюстом РФ иноагентом. – *Прим. ред.*) сейчас о книгах не пишет. Я с интересом читаю сайт «Прочтение», который занят фронтальным рецензированием, читаю многие тексты в тех же «Флагах». «Горький». Заметки в «Метажурнале». Мне всегда интересно то, что пишет Максим Алпатов, хотя я не всегда с ним согласен.

Очень не хватало поточной критики журнала «Воздух», которая создавала уникальное ощущение: люди, с которыми ты, скажем так, на одной волне письма, пишут о книгах, которые ты успел или не успел прочитать. Но «Воздух» сейчас возобновил публикацию, и это будет хорошее вливание в несколько подзавявший критический процесс. Собственно, сразу после выхода нового номера у меня вся лента была в скриншотах отзывов из ПДФ-ки. Люди соскучились. А к рецензентам добавились новые авторы – например, Лиза Хереш, – дебютировавшие в последние годы.

Б.К.: *Что вы запрещаете себе как критику? А что (в смысле методологии, чисто технических советов по построению статьи) посоветовали бы с высоты опыта молодым коллегам?*

Л.О.: Я в последние годы писал в основном для сайта «Горький», аудитория которого не всегда находится в пределах профессионального литературного поля. Какие-то вещи нужно проговаривать вслух, подразумевая, что читатель может всех этих имён не знать. Я старался писать популярно и ясно, не жертвуя при этом соображениями о родстве разных поэтик. Мне всегда было важно поместить поэта в какой-то контекст, понять, что он делает, как соотносится с другими участниками поля. И важно здесь помнить о читателе – не лениться объяснить, о чём, собственно, речь. В конце концов, это когда-нибудь тебе самому пригодится, потому что текстов много, имён много, каждая рецензия – это зарубка ещё и себе самому на память.

«С высоты опыта» я не могу ничего советовать. Опыт этот, как вы сами заметили в рецензии, пугающ в количественном отношении – 568 страниц не шутка, – но мне всегда кажется, что мне самому есть чему учиться. Добиваться ясности стиля, например.

Б.К.: *И всё же – если приближаться прямо к конкретике построения статьи?*

Л.О.: Хорошо бы в начале статьи объяснить читателю, о ком вообще идёт речь, кто этот поэт, чем он до этого занимался, можно ли сопоставить периоды его творчества. Если нет, если имя новое – подумать, с каким контекстом это связать. Но это какие-то общие вещи. Рецензия не должна быть формализованной, она может быть очень разной. У меня есть какая-то внутренняя кухня. Как правило, я делаю в телефоне разные заметки: с какой страницы что процитировать и что по этому поводу сказать. Вероятно, если бы эти заметки увидел кто-то, кроме меня, он бы ничего не понял. Думаю, что многие пишущие следуют такой привычке, совсем начисто писать из головы невозможно – при том, какие объёмы информации через эту голову сейчас проходят.

Б.К.: *На полях книги пишете, как это делает Ольга Балла?*

Л.О.: У меня такой возможности нет, книги из России в бумажном виде почти не доходят. А когда-то, да, я читал с карандашом – потом подумал, зачем портить книжку, когда есть телефон, и перестал это делать. Закладки, впрочем, делал всегда – у меня книги превращались в таких ежей по верхнему краю, от закладок пестро и толсто.

Б.К.: *Вы затронули вопрос ясности критического текста. Хотелось бы продолжить о популяризаторском знании, вообще изменении стиля и метода. Например, статья, написанная для «Полки» о Дмитрие Александровиче Пригове, с самого начала вводит в курс дела и излагает то, что профессионалу может показаться даже слишком доступными сведениями. Но затем (с аллюзией на «Божественную комедию») преподносит основные мотивы и сюжеты Пригова в композиционно занятом ключе...*

Л.О.: Умение адаптировать стиль и метод входит в набор профессиональных качеств критика и филолога. При этом есть авторы, которым доступна высшая простота, – например, Михаил Леонович Гаспаров, стиль популярных лекций которого не отличался от стиля его учёных работ – за исключением стиховедческих, просто из-за того что стиховедческие работы всегда загружены профессиональной терминологией. Но в целом учитывать аудиторию – не самая большая премудрость. «Полка» изначально была популяризаторским проектом, научно-популярным, и курс по истории русской поэзии, который мы сейчас доделываем, рассчитан на человека заинтересованного, но не читающего поэзию постоянно. Именно поэтому мне так приятно видеть комментарии вроде «Спасибо, что рассказали о поэтах, которых мы не знали». Притом что для читателя вовлечённого поэты Лианозовской школы – это классики. Нет смысла спорить об их статусе – они есть, и они изменили русскую поэзию так, что с этим нельзя не считаться.

Текст о Пригове не писался прямо специально для «Полки» – это переделанный текст послесловий к шеститомному собранию сочинений Пригова, которое я готовил для «Нового литературного обозрения». Эти шесть томов сильно отличались от ранее вышедшего большого пятитомника – это такой Пригов для тех, кто его может не знать. И тоже нужно было объяснить, что в этих стихах происходит, чем они замечательны, потому что Пригов остаётся для многих читателей «традиционной» поэзии таким шок-контентом. Первоначально кажется, что он героизирует графоманию. А то, что есть задача за его гигантским корпусом, – ну, её нужно немножко объяснить. Собственно, этим сам Пригов занимается в своих очень умных и очень непростых для восприятия теоретических работах.

Б.К.: *В сборнике присутствуют и «неформатные» тексты – например, о Вере Полозковой и Павле Жагуне. Из критиков, которые обращаются к проблемам массовой культуры, не теряя ощущения иерархичности поэтического поля, вспоминается Владимир Новиков. И всё, пожалуй.*

Л.О.: Новиков – потому что он о Высоцком писал? Но тексты Высоцкого – это не тексты, условно говоря, уровня Леонида Дербенёва. Влияние Высоцкого на поэтическую традицию неоспоримо.

Б.К.: *Я имею в виду скорее критические статьи Новикова.*

Л.О.: Текст о Полозковой – не понимаю, чем неформатный; это рецензия в таком же роде, как и другие. То, что делает Вера Полозкова, мне было интересно с самого начала, потому что я видел противоречие между большим поэтическим мастерством и отчётливой «популярной» направленностью именно этих текстов. То, что произошло со временем с её стихами, мне кажется замечательным сюжетом: эти стихи выросли, и о них стало можно говорить в другом ключе. При этом инерция изначальной репутации «поп-поэта» мешает многим коллегам о них говорить.

Что касается Жагуна – да, это действительно был экспериментальный текст, потому что мне захотелось поговорить о том, как один поэт решает совершенно разные задачи. С одной стороны, прикладная задача: написать простенький текст поп-песни, рассчитанный на то, что пипл будет это слушать, как говорил Богдан Титомир. А с другой стороны – довольно едкая его экспериментальная поэзия. Мне хотелось разобраться, где тут фига в кармане, есть ли вообще она, можно ли говорить, что это один поэт, а не два или три в одном теле.

До этого я видел только один серьёзный текст о поп-поэзии – эссе Алексея Шепелева о группе «Тату». «Хлам» сейчас выпустил целую подборку текстов о поп-поэзии и рэп-поэзии. Я всячески это приветствую и мне это интересно, хотя сам я не готов писать о рэпе.

Б.К.: *Мне казалось, что после вашей статьи о Жагуне традиция серьёзных текстов о поп-поэзии не была продолжена. К сожалению.*

Л.О.: И мне кажется это неправильным, потому что у нас вполне развита, например, пришедшая с Запада и хорошо укоренившаяся традиция серьёзного письма о сериалах. Топовые западные сериалы – это поп-культура, при этом они сделаны исключительно качественно и провоцируют серьёзные обсуждения, в том числе философские. Мы вполне можем говорить о политической философии «Игры престолов» или «Безумцев», так почему не делать то же самое для текстов поп-музыки? Там, правда, высокое качество ночует много реже.

Б.К.: *Давайте, наверное, скажем о Льве Семёновиче Рубинштейне. В вашей книге есть статья о нём, она же некролог, но дополнительно вспомнить его никогда не помешает.*

Л.О.: Что сказать о Льве Семёновиче? Это дикая, невообразимая потеря. Его голоса очень не хватает в виртуальном пространстве, но я могу представить, насколько его не хватает людям, живущим сейчас в Москве: он был одним из её добрых гениев. Мне хочется, чтобы опять были собраны его тексты, его картотеки, его эссе; я думаю, что это будет в скором времени сделано. Разговор об этих текстах и о том, каким образом концептуалистский метод сочетается с традиционным лирическим методом, – разговор, начатый в 1979 году Борисом Гройсом, – всё ещё обещает много нового. Насколько я знаю, не было комментария к его картотекам; у него были опыты автокомментария – книжка «Мама мыла раму» – но помимо этой книги, у него много картотек, которые хочется обсудить: как они устроены, какого рода цитаты в них появляются, как в них переключается голос. Всё это хочется сделать. Я вполне могу представить книгу о Рубинштейне в НЛЮ-шной серии «Неканонический классик» или большую монографию о его работе.

Б.К.: *Есть ли любимая статья в книге – та, которую вы порекомендовали бы в первую очередь? Расскажите о ней.*

Л.О.: Статья про Жагуна смешная, потому что она работает с непривычным материалом. Из рецензий – я рад, что мне удалось что-то сказать о Владимире Лукичёве, который и был, и остался для меня загадочным автором, но что-то, как мне показалось, я смог в нём понять. Рецензии на сборники Данилы Давыдова, Алексея Порвина, на большое собрание Михаила Ерёмкина мне кажутся значимыми в этой книге.

Мне нравится, когда рецензия получается изящной. Это вежливая вещь, которую рецензия может сделать по отношению к самой книге, – изящество.

Б.К.: *Вы вспомнили рецензию на книгу Данилы Давыдова. А я как раз процитировал в финале своей рецензии о вашей книге слова из вашего давнего отзыва на книгу статей Давыдова. В ней вы писали, что книга «даёт образ работы вдумчивого критика», мне эти слова запомнились.*

Л.О.: Книга «Контексты и мифы», я её прекрасно помню. Это была едва ли не первая книга статей современного критика, которую я прочитал насквозь. И в каком-то смысле я, наверное, вёл с ней диалог, когда составлял свою.

Борис КУТЕНКОВ

СЛАДОСТЬ БЕССМЫСЛИЦЫ

Владимир Гандельсман. В небе царит звезда. – М.: Издательство центра арт-терапии «Делаландия», 2024. – 184 с.

В предисловии к этой книге Владимир Гандельсман пишет: «Читатель не найдёт здесь критики от слова “критиковать”. Мой метод прост: я пытаюсь проследить истоки того, что подвигло автора к поэтическому или прозаическому высказыванию, а поскольку в своём выборе я заранее знаю, что истоки эти непременно чисты, то моя задача состоит единственно в том, чтобы выявить и обозначить, как намерения автора воплощены в слове». Здесь и правда нет места отрицательным суждениям. Есть – предельное доверие к Замыслу, послужившему воплощению в слове.

Перед нами сборник доброжелательных отзывов – предисловий, послесловий, цитат, вынесенных на обложки книг, и даже отрывков из писем авторам («коротышки» волею составителей помещены в отдельный раздел). Некоторые, как это обычно и бывает, написаны с истинным вдохновением; какие-то – с вдумчивой и сдержанной приязнью к попросившему автору. И те и другие – написаны *хорошо*, может быть, даже редкостно хорошо для нашей эссеистики; в каждом слове, в каждой строке поэта чувствуется – жест *поэта*, что как раз и позволяет этим работам жанрово отстраиваться от критики (и даже не обязательно «от слова “критиковать”», а в принципе от рецензионного жанра). Была бы уместнее другая параллель – именно с прозой поэта, то есть суть продолжением его основного дела. «...изображение, смысл

и звук, слитые воедино и сверкающие словно бы в дуговой сварочной вспышке» (о стихах Константина Кравцова), «Слово не заодно с ситуацией, но служит инструментом её опровержения: живая душа, отлетевшая от мёртвых обстоятельств...» (в эссе о Льве Дановском) – таких метких формул, рассыпанных по книге, мы найдём множество, что уже само по себе делает её обязательной к прочтению для любого пишущего сейчас о поэзии.

Стиль стилем – хотя и он безмерно важен. Но вот что, пожалуй, отличает метод Гандельсмана от многих и многих хоть эссеистов, хоть критиков поэзии, – это его не просто тяга, а апология непривычного, выходящего за рамки смысла (ну, пусть – обыденного смысла). «Требовать от раннего Пастернака логичной и упорядоченной речи нелепо. Молодой и, простите, страстный человек слов для любовных бормотаний не выбирает. Пусть бормотания. Избыток жизни – сам себе смысл. Но именно потому, что он – избыток и переливается за край жизни, становясь словно бы внешним по отношению к ней. По сути – к себе же» (в эссе о Марии Степановой, где довольно говорится об «орфографических и синтаксических причудах», о «мелкозубой щучке правописания (и даже не столь мелкой: допустим, эпитета), <...> «принесенной в жертву сорвавшемуся, свободному слову, – на мой взгляд, точности куда большей»). Это в высшей степени справедливо – и в этой апологии Гандельсман вступает в вольную или невольную полемику как раз с критиками, требующими нормативной речи, соответствия привычному. Разумеется, история литературы рассудит, и то, что сейчас может показаться у современников «причудами», предстанет, возможно, как значимая особенность стиля. Ясно и то, что «причуды» – не самоцель, и это не

оспаривает автор книги. Важнее – умение почувствовать самостоятельную энергетику творения: в этом эссеист ссылается на Витгенштейна («Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью, она должна находиться вне всего происходящего. Ибо всё происходящее случайно») и на Уоллеса («Язык веселится поэзией»).

Суждение поэта о чужом искусстве есть слепок его ещё не написанного, идеального стихотворения. Есть ли здесь защита собственного творческого метода? А противоречие «смыслу», экзотический выверт – не способно ли к искушению в какой-то момент стать эксцентрикой ради эксцентрики? У меня нет определённых ответов. В данный момент, когда я пишу эту рецензию, жду ответов на эти вопросы от Владимира Гандельсмана для интервью. Уверен в одном: они будут непредсказуемыми – и, по Тынянову, заставят мысль двигаться «в новых семантических разрезах». И ещё в одном – что вопиюще талантливыми, как всё, что он пишет.

В этой эссеистике мысль о «нарушении общепринятого порядка» соседствует с филологической подробностью – любые формулы, хоть самые точные, были бы холостыми без неё, родимой. «Иногда это (преображение. – Б. К.) достигается простым устранением предлога: “подумаю тебя” (вместо “подумаю о тебе”). Иногда – выбегом из своего тела и взглядом на себя со стороны, и тогда, вслед за этой небывалостью, рождается и небывалое слово, неологизм, подтверждающий необычность переживания: “В этом теле, которое я ношу, / даже разум не очень мой, / утомительный шелест, шершавый шум, / августите меня домой...”» (о стихах Нади Делаланд). Апология свободы – соседствует с отрицанием бессмысленности (и было бы странно, если бы о ней в таком контексте не велось разговора; слишком уж легко перепутать, инкриминировать эссеисту привязанность к таковой. Но нет). О футуристических неудачных попытках со-

противления Замыслу мы найдём отдельные наблюдения и в превосходнейших записных книжках Гандельсмана – вышедших в разные годы двумя отдельными изданиями в «Русском Гулливере». Здесь «сладость противоречия, бессмыслицы, тайны» (цитата из «одного философа-музыковеда» о Бахе) противопоставляется звукописи, ставшей самоцелью, которая «делает стихи слащавыми, если в них есть какой-то смысл (как это бывало у символистов), и бредом, если они бессмысленны». Там же, где, кажется, стихи не близки Гандельсману именно смысловой чрезмерностью, осторожно говорится: «В великой поэзии звук умеет опережать смысл, причём тут же выясняется, что смысл стал глубже, сам того не ведая. С тем, насколько поэтическая работа Сергея Золотарёва соответствует такому критерию, разберётся время». Из подтекста можно понять, что как раз не соответствует, – впрочем, с этим лучше разберётся читатель, соизмерив собственное впечатление с текстами. Эссе-«коротышки» в книге Гандельсмана лишены цитатности или используют её по минимуму – и поэтому отчётливее взыскуют читательской самостоятельности.

А что до героев эссе? Их вряд ли получится поместить в одну клетку, пусть и золотую; однако уже ясно, чего тут нет, – радикального авангарда (впрочем, как и косной традиции). При этом взгляд так и хочет выцепить поэтов *непохожих* (не на стихи Гандельсмана и не друг на друга, все герои здесь так или иначе различны, но на саму апологию непривычности). И вот, например, перед нами два эссе о Кате Капович, поэте, казалось бы, далёком от того, что любит Гандельсман. Одно из них, о книге «Весёлый дисциплинарий», вообще выделяется в книге, так как написано отдельной протяжённой фразой, с перебивкой цитат из стихов, вынесенных отдельными абзацами. (Подражать этому соблазнительно – ещё давно, прочитав это предисловие как раз в книге Капович, я на-

писал один из своих текстов тем же методом. Писать так, как Гандельсман, – невозможно.) Другое, более «традиционное», любопытно тем, что выделяет у Капович неочевидное: кунштюк на уровне смысла (строку о девочках, висящих «на детском снаряде вниз головой»). Чувствуется, что это важно Гандельсману, что он останавливается на этом: «Помните, как пишут разгадку? Вверх тормашками. Потому девочки в приведённом стихотворении и висят вниз головой». Это, разумеется, не самое важное в стихах Капович – и не единственное, что отмечает Гандельсман. Но и тут он о своём – о стремлении выйти за рамки постижимого. В итоге – опять-таки о свободе.

Счастлив, кто падает вниз головой (далее цитировать не будем: читатель Гандельсмана – читатель образованный). Такой иной мир открывает нам эссеистика Владимира Гандельсмана. Иной – каким всегда является сам подлинный поэтический текст. Иной – на фоне сегодняшнего многообразного разговора о стихах.

Александр МАРКОВ

РАЙ И РАЁК МАЛОГО РОМАНА

Мария Степанова. Фокус. – М.: Проект 24, 2024. – 124 с.

Новый роман Марии Степановой радует сразу несколькими обстоятельствами. Прежде всего – это роман невероятно подвижный, скручивающийся внутрь себя напряженными и точными наблюдениями и развертывающийся во всю ширь размышлений над языком и историей. Казалось бы, весь роман организован вокруг несчастного и трагикомического путешествия, но это путешествие не организует переживание судеб, как у Радищева или Венички Ерофеева,

не сталкивает готовый опыт повествователя сразу со множеством различных, но не менее готовых опытов. Напротив, Степанова описывает мир, который застали врасплох: мир после пандемии, мир конфликтов и различных социально-политических *quirquo*. Таксист, везущий повествовательницу через границу, вовсе не тот болтливый персонаж, каким бы он был в любом травелогге – напротив, едва начав обычную для таксиста конспирологию, он делается сдержан вплоть до собственной ошеломленности. Поэтому траектория героини-повествовательницы – не горестные испытания, но напротив, свободное перемещение, гимнастическое ловкое движение (фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» – только одна из многих киноцитат в книге), перерастающее в прыжок и чуть ли не полет.

Роман потому и короток, что героине предлагали воспользоваться самолетом, чтобы прибыть на место назначения – и подразумевается, что самолет готов принять ее в обратный путь. Фантазмагория, явно подражающая «Москве – Петушкам», не может завершиться смертью пишущего (пишущей), хотя героиню и собираются распилить в ящике-фокусе, но вполне может – регулярным комфортным рейсом. Просто этот рейс, как и все прочие, сам по себе не решит никаких вопросов. Отсылки к поэме Ерофеева, кстати, нередки: забытый в европейском поезде вегетарианский сэндвич рифмуется с конфетами «Василек», а старомодный гранд-отель *Petukh* и есть Петушки восточной Европы, куда героиня попадает и не попадает одновременно.

Далее, в романе есть вставные новеллы, данные как содержание памяти героини, как воспоминание о давно прочитанном, например, всплывавший в уме старый рассказ о профессоре-арабисте, которому туземцы вырезали язык и превратили в буффона. Функция этих вставок – не намекнуть на обстоятельства современности, с которыми

всем всё понятно, но показать, что существует и другая история всего, что происходит с миром – шутовская, нелепая, цирковая. Это определенный способ писать историю, даже не говорить правителям правду в лицо, но предавать правду памяти, в том числе молчаливо кричащую правду. В этом мире юродивый Николка и летописец Пимен оказывается одним лицом, и это лицо в конце концов отождествляется с владельцем странного цирка – где есть львы, вопреки инструкциям Европейского Союза о запрете цирков с животными. Это уже встреча героини с самой историей, но не историей как большим рассказом о больших событиях, но искривлённой, юродивой, и потому правдивой историей.

Характерно, например, как героиня не совсем точно вспоминает «Посещение музея» Набокова: у Набокова театр жизни это «мягкая муть, туман, превосходно подделанный, с совершенно убедительными пятнами расплывающихся фонарей». У Степановой это «пространственные инсталляции с неживыми прудами и искусственными туманами». Набоков говорил вовсе не о нарочитости театра жизни, в его пантеистическом мире сама иллюзия порождает иллюзию, на месте Бога стоит вечная игра. Степанова понимает театр жизни как раёк; это не рухнувшие декорации, как в конце «Приглашения на казнь», но постоянно создаваемые и воссоздаваемые декорации, *петрушечный спектакль*, который требует *подручного антуража*. Один из его вариантов в книге – игра для взрослых *escapе room* – комната, в которой ключ можно найти, только разгадав последовательно загадки, ребусы и шарады и проложив тем самым среди обыденных вещей лабиринт до ключа. В этом райке и идет самозабвенный спектакль, который позволяет со стороны посмотреть на телегероев большого всемирного спектакля.

Романс «Памяти памяти» Степановой был романом русского зебальдианства, но

Зебальд был прочитан через множество русских авторов, от Пушкина до Бродского, и потому этот *романс*, переведенный на множество языков, и вернул русскую литературу в мировую. В новом романе освоены другие достижения мировой литературы, недостаточно представленные в переводах. Тон прозы в чем-то напоминает Клариси Лиспектор, столь мало известную в нашей стране – внимание к своему телу как в чём-то смешному, рассмотрение собственных чувств как естественной истории мира, как роста самого мироздания, эта гиперчувствительность, которая требует воспринимать человеческую речь как что-то ошарашивающее, тектонически огромное, любой диалог как землетрясение или извержение вулкана – это уроки Лиспектор.

Лиспектор создавала особый мир, где нет суверенитета ни героини, ни того мужчины, о котором она думает – ведь героиня в доверии к себе наделяет суверенитетом себя прошлую, а не настоящую, и в настоящем она готова принадлежать Другому. Но Другой лишен суверенитета, он состоит из реплик и мнений; и потому героиня, разочаровываясь в нем, но не разочаровываясь до конца в себе, возвращается к себе прошлой и обретает настоящую свободу. Это разочарование при этом не психологическое, а онтологическое – такое онтологическое разочарование еще не освоено русской литературой, и вероятно, «Фокус» станет главным этапом такого освоения. Степанова отличается от Лиспектор тем, что Другой для нее – это Город, где она будет представлять свою книгу, и онтологическое разочарование в том, что в этом Городе всё устроено не так, как требует поэтическая правда, не мешает совсем возвращению к себе, под особое навязчиво-музыкальное очарование всех подробностей городской жизни. Бегство в цирк оборачивается бегством цирка и новым ощущением уместности города хотя бы как разочаровывающего.

Вспоминаются и другие короткие романы последних лет, например, «Поляк» Кутзее. В этом романе тоже контрданс разочарований и есть основной сюжет – польский музыкант, интерпретатор Шопена, стремится самым своим телом восстановить классику, в том числе в ее страшном, дионисийском изводе, а его возлюбленная уже своим телом пытается восстановить письмо, прописывая себя, артикулируя себя, разглядывая себя в зеркале, чтобы этот страшный дописьменный миф подчинить собственной страсти и облагородить страсть. Такая взаимная игра в кошки-мышки – вероятно и есть конструкция малого романа. Но у Степановой нет проблемы мифа, письма или вообще опосредованного техникой, хотя бы зеркалом присутствия. В зеркале героиня Степановой не рассматривает себя, она в нём забывается, теряется. Она забывает зарядное устройство, забывает заряжать телефон, наконец, забывает о самом телефоне и вспоминает о нём только тогда, когда надо собраться для новых дел, никак не связанных с начальным приглашением.

Роман Степановой – это роман *отмены техники*, даже самой простой, вроде зеркала или трости, техника иногда может быть вынесена за скобки. Это не борьба с техникой с помощью круто развернутых досократиков, как у Хайдеггера, а просто ее временная приостановка, когда она неуместна в райке. Поэтому книга Степановой и на международном рынке наверняка встанет в один

ряд, скажем, с интеллектуальным бестселлером Оливии Лэнг «Сад против времени», который доступен уже и русскому читателю. Пандемия как приостановка всех занятий отражена у Лэнг в ее собственной практике возделывания сада, практике, которая при этом выявляет отнюдь не идилличность сада, а напротив, вовлеченность его во вполне технологизированные, пусть и старые практики эксплуатации и неравенства.

Степанова делает шаг дальше: она говорит о приостановке событий уже после пандемии, когда всемирные риски возросли и когда даже в перемещении вроде бы частного лица вдруг заявляет о себе и архаическое насилие, и бессловесный позор, и бесчестие. Ты возделываешь сад или собираешься выступить перед читателями, но позор – *выставление на позор*, то есть на зрелище, как Петрушка в райке – уже здесь.

Новый роман Степановой проходит между автопрозой (автофикшн) и фельетоном, не задевая ни того, ни другого, хотя воспринимая все приёмы и того, и другого. Не задеть – это значит не образовать точек напряжения, где читатель скажет, что это же фельетон или что это же автофикшн. Читатель так никогда не скажет – это значит, что самозабвенность достигается уже на первых страницах книги. Нужно только доверять ей чуть больше, чем мы обычно ей доверяем, а этому помогает выверенная поэтичность романа, даже не ритм, а та стыдливость, которую подделать невозможно.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (*документальные исследования*): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 21 октября 2024 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.